Тихий солдат
А. БИНЕВ

Андрей Бинев
Тихий солдат

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30815616
ISBN 978-5-699-67408-4

Аннотация

«Павел стремительно сунул руку в карман бриджей и по привычке точно попал пальцами в гладкие кольца трофейного немецкого кастета. Рука знала все самые мелкие детали жестокого инструмента. Сердце зашлось от притаившейся в кастете звериной силы смерти и от горячего предчувствия страшной беды. Кулак инстинктивно сжался, и обтекаемый упор изящной стойки кастета тяжело и призывно впился в сухие подушечки ладони.

Майор МГБ, крепко сжимая его плечо и тем самым удерживая, быстро отвернулся и потянул руку к крану, из которого звонкой струйкой бежала вода. Он обхватил тонкими своими пальцами белый керамический вентиль и ловко закрутил его. В то мгновение, когда майор рывком повернул голову назад к Павлу и когда знакомая до боли темно-синяя родинка величиной с горошину, нежно и доверчиво, словно спящая бархатная мушка, очень близко затемнела на его бледном виске, Павел с выдохом выдернул руку из кармана и коротко, метко саданул кастетом в ту самую мушку, что много раз видел во сне…»

Содержание

Пролог 4
Часть первая 8
1. Волки на дороге 8
2. Однофамилец 47
3. Добрая москвичка Мария Ильинична 62
4. Большой человек 91
5. Маленький человек 134
6. Первая молниеносная война 182
7. Вторая молниеносная война 218
8. Аресты 236
9. Москва 254
10. Выстрел 270
Конец ознакомительного фрагмента. 281

Андрей Бинев
Тихий солдат

Скромным солдатам, которые всегда были единственным безмолвным средством для достижения великих целей

Распятые рабы – это тихие часовые на вечной дороге цезарей.
Baron Eduard von Acheberg,
эпизодийный герой романа

Война показала, как мало стоит жизнь, а победа – как дорого стоит ничтожество.
Полковник контрразведки Герасимов,
один из героев романа

Пролог

Павел стремительно сунул руку в карман бриджей и по привычке точно попал пальцами в гладкие кольца трофейного немецкого кастета. Рука знала все самые мелкие детали жестокого инструмента. Сердце зашлось от притаившейся в кастете звериной силы смерти и от горячего предчувствия страшной беды. Кулак инстинктивно сжался, и обтекаемый упор изящной стойки кастета тяжело и призывно впился в

сухие подушечки ладони.

Майор МГБ, крепко сжимая его плечо и тем самым удерживая, быстро отвернулся и потянул руку к крану, из которого звонкой струйкой бежала вода. Он обхватил тонкими своими пальцами белый керамический вентиль и ловко закрутил его. В то мгновение, когда майор рывком повернул голову назад к Павлу и когда знакомая до боли темно-синяя родинка величиной с горошину, нежно и доверчиво, словно спящая бархатная мушка, очень близко затемнела на его бледном виске, Павел с выдохом выдернул руку из кармана и коротко, метко саданул кастетом в ту самую мушку, что много раз видел во сне.

Голова майора дернулась почему-то навстречу кулаку, а не от него. Висок с родинкой беззвучно провалился вовнутрь и из мгновенно образовавшейся глубокой ссадины стрельнуло густой черной кровью. Глаза майора закатились под лоб, и он тяжело рухнул на каменный пол.

Павел отступил на шаг, оглянулся. В уборной никто так и не появился. В высокое прямоугольное окошко по-прежнему весело, по-весеннему, стреляли легкие лучики утреннего солнца. Он медленно присел над безжизненным телом майора и почему-то сразу поискал глазами ту нежную родинку. Но ее уже не было видно под вязкой, свежей кровью убитого им человека. Майор тихо лежал лицом вниз, раскинув в стороны руки с тонкими длинными кистями и музыкальными пальцами. Челка свисала со лба, свеже-подстриженные

по последней моде волосы легко и беззаботно шевелились от ветерка, выбивавшегося из-под прикрытой двери уборной.

На откинутую узкую форточку почти под потолком бойко, весело сел худой московский воробей и острым, любопытным глазом стрельнул вовнутрь помещения. Павел испуганно вскинул голову. Их стремительные взгляды, сильного еще молодого человека в особенной, франтоватого покроя, сержантской форме и мелкой птахи из плебейского рода городских крохоборов, встретились. Воробей опасливо вздрогнул и тут же вспорхнул – полетел собирать свои жалкие крохи.

Надо уходить как можно скорее, пронеслось в голове у Павла. Он будто очнулся, увидев воробья. Сейчас зайдет кто-нибудь из арсенального караула, свободного от службы, и все будет кончено. Павел резко выпрямился, развернулся на месте, шаркнув хромовыми офицерскими сапогами по плитке, и, не оглядываясь, решительно шагнул к выходу. Уже под витым козырьком уборной, овеянный свежим ветерком, он вспомнил, что продолжает сжимать в ладони кастет. Павел попытался сунуть руку с кастетом в карман, но от волнения промахнулся и один из жестких углов зацепил край материи галифе. Послышался легкий треск. Павел во второй раз пихнул руку с кастетом в карман и, наконец, скинул его там. Рука была потная.

– Я обязан! Обязан!! Я обещал…, – шептал он, быстро приближаясь к посту.

Павел шел к последнему удару в ту нежную родинку дол-

гие, долгие годы.

Дело сделано, завершено! В душе было ужасающе пусто, любая мысль, даже самая короткая, отзывалась в ней гулким звоном.

Из приоткрытого окошка караулки, из радиоточки, будничнo вилась легкая, веселая песенка.

Шел апрель 1948-го года, теплый, свежий.

Часть первая
Командарм
1935-1943 г.

1. Волки на дороге

Из Лыкино он уходил поздней свинцовой ночью под жалобный, бессильный плач матери и попискивание младшей сестры.

Снег уже давно сошел, но черная, прохладная еще земля была так густо пропитана талой водой, что та стояла небольшими черными прудиками вдоль размытой, ухабистой дороги. Телеги вязли в прошлогодней колее по самую ось, а недокормленные лошади натужно храпели, вытаскивая их из глубоких заболоченных рытвин и бездонных ям, в которых мог бы захлебнуться даже семилетний ребенок.

Никто, ни за какие посулы, увещевания и клятвы прислать к лету богатых гостинцев не согласился везти Пашку за семь верст к станции, и он, ожесточенно махнув на всё рукой и забросив за спину свой полупустой сидор, побрел пешком. Сапоги промокли сразу, как он вышел за околицу, и теперь противно чавкали в ледяной воде. Но Павел упрямо двигался на северо-восток, к станции, угадывая путь лишь по знакомым

очертаниям холмов и редких, темных теперь, рощиц. Дорога местами так сливалась с почерневшим полем, что он останавливался и долго, мучительно всматривался в кромешную тьму горизонта, ожидая хотя бы на мгновение рожка месяца, выскальзывающего время от времени из-за низких свинцовых туч.

Теперь, лежа в жаркой казарме в окружной школе младшего начсостава, он с содроганием вспоминал ту долгую и мучительную дорогу к станции. Волков, которыми всегда были полны тамбовские степи, Павел не боялся. Он знал, что они нипочем не решатся выйти на охоту за человеком в такое ненастье, потому что сами утопнут в озерках, разлившихся по земле после такой небывало снежной зимы. Им не под силу была теперь такая далекая охота. Да и передохли серые целыми стаями из-за затянувшихся лютых морозов и многомесячного голода. Он сам видел днями две развонявшиеся худые волчьи туши на опушке еле оттаивавшей поздней весной березовой рощицы.

Лишь к рассвету впереди замаячил единственный огонек станции. Павел, задыхаясь и страдая от промерзших насквозь, до полного бесчувствия, пальцев ног даже ускорил шаг. Хотелось поскорее попасть в деревянный, протопленный дом, считавшийся важной станционной вехой местной узкоколейки. Станция Прудова Головня была единственным связующим звеном с остальной земной цивилизацией. Пять часов чуханья дымной, душной «кукушки» по разболтанной,

местами даже ржавой, железке, и вот тебе – дальние пригороды большого и светлого, как ему тогда казалось, города Тамбова.

Теперь же, лежа в ночной тиши казармы, в самом теплом и уютном ее углу, он усмехался тому, как наивно, как слепо он понимал городское явление цивилизации и каким далеким это оказалось от истинных ее примет.

«Кукушка» тронулась лишь часам к одиннадцати утра, потянув два темных деревянных вагона, из которых лишь один отапливался прогоревшей буржуйкой. В него торопливо залезло семеро нищих, мрачных сельчан из Куликово, двое худых волынцев и трое каких-то бородатых бродяг, пьяных, грязных и злых, бог знает каким образом попавших в эти голодные и скудные теперь степи.

В дороге бродяги стали резаться в карты под свечным огарком на перевернутом ящике, орать, материться без всякого удержу, хватать друг друга за бороды, за грязную рвань, которую уже и одеждой-то назвать было нельзя, и, в конце концов, один из них, самый старший, худой и крикливый, выхватил сапожный нож и ни с того ни с сего кинулся на одного из волынцев, жаловавшегося гнусавым голосом односельчанину всю дорогу, о том, как у них, у единственных в их степной Волыни, отобрали последнюю слепую курицу да хромого петуха, и теперь только собака одна осталась из всей домашней живности, да и та худее его самого, что было почти невероятно.

Нож опасно скользнул по плечу, чуть было не распоров тонкой морщинистой шеи волынца. Сам же он сжался в комок, а глаза распахнулись так, что только они и остались на изумленном лице. Рот был упрятан в глубокой морщине между крошечным остреньким подбородком и свернутым набок, неприметным носиком. Из вспоротого рукава брызнула хилой струйкой кровь, волынец слабо вскрикнул. Пассажиры ахнули и метнулись в стороны, кто куда. Бродяга, взревев по-звериному, вновь взмахнул рукой, с торчащим из ее кулака косым лезвием ножа, но тут же замер, точно окаменел. Перед ним стоял Павел, высокого роста, с развернутой широкой грудью и мощными плечами парень. Глаза его были строгими, решительными. Вроде бы и совсем молод, а как-то очень уверен в себе. Это пугало, настораживало. Не случайно же он так смел, а если у него наган? А если двинет сейчас так, что голова у кого-нибудь отвалится? Вот ведь глядит как – зло и спокойно.

– Чего балуешь! – Павел отбросил в сторону сидор, который так и висел в дороге на его плече, и грозно надвинулся на бродягу, казавшимся по сравнению с ним немощным и злобным карликом.

– Брось! – уже тише и потому даже страшнее добавил Павел. – Ну!

Он показал бродяге огромный свой кулак и потряс им в воздухе. Двое других бродяг издевательски захихикали в сумерках вагона. Послышалось с их стороны:

– Ладно тебе, Кукиш! Считай, отработал! Нет за тобой долга. Давай сюда, еще раскинем…вот на этого, на смелого.

– Я вам раскину, нечисть косолапая! – крикнул в темноту Павел, – А ну вышли сюда все трое… А то сейчас, жиганы, головы всем поотрываю!

Он вдруг схватил с пола что-то тяжелое и запустил им в темноту. Попал, видимо, метко, потому что оттуда послышался сдавленный крик:

– Сдурел, битюг! Ты чего ящиками-то…! Угол-то железный…

Павел размахнулся и с придыханием впечатал кулаком прямо в переносицу того, что все еще стоял с сапожным ножиком перед ним. Мелькнули в воздухе лишь ноги в стоптанных башмаках, и бродяга мгновенно исчез в темноте.

– Ладно тебе, паря! – опять крикнул кто-то обиженно, – Мы мирно теперь… Да вот те крест!

Порезанный волынец всю дорогу жалобно стонал, прикладывая к глубокой царапине на предплечье грязную тряпку, которую ему с явным нежеланием протянул односельчанин.

– Ох, времена, времена! – гнусавил он со слезой, – И кур отняли, и с голодухи помираем, и сеять нечего…, а тут еще такое хулиганство на железке! Как жить! Как жить!

Бродяги, похоже, задрыхли в своем темном углу. Но Павел не решался повернуться к той стороне спиной и до самой конечной станции так и просидел в напряжения, прижав к себе сидор. А ведь хотел поспать в дороге, измучен был он

теми семи верстами по грязи.

Еще осенью, перед самой распутицей, до первого снега, к ним в Лыкино прискакал верхом молодцеватый помощник военкома, улыбчивый, шумный мужчина лет за тридцать. Он объезжал до зимы дальние тамбовские деревушки, оскудевшие мужчинами еще с начала двадцатых, и сверял путаные списки призывников. В Лыкино из всего списка на двадцать три юноши обнаружилось лишь восемь, а остальные давно уже разъехались по городским стройкам, сели в тюрьму каждый за свое, а двое утопли в прошлом году в пруду – пьяными купались. Один стал тонуть, другой его спасать, так в обнимку и пошли ко дну.

Кроме вновь учтенных юных призывников, в Лыкино трудоспособного населения вообще было мало. Многие дома стояли заколоченными и поросшими сорняками уже лет тринадцать, а то и больше. Как похватали тогда смутьянов целыми семьями, как увезли их за Урал, под плач и стоны, а кого-то и в трибунал, так и остались их родовые гнезда без жизни. Соседи Пашки Тарасова Куприяновы вот так и сгинули почти все.

Павел помнил еще Куприяна Куприянова, сына Аркадия Андреевича, который был чуть старшего его самого, годика на два. Так тот, когда отца потащили со двора связанным и битым уже до крови, вцепился в ремень к командиру, что командовал бойцами, да повис на нем так, что у того даже ремень с треском лопнул. Куприяна приложили ногайкой,

которые раньше только у казаков были, и добавили сапогом по ребрам раза два. Отца, говорят, расстреляли в Тамбове, немедленно после трибунала, в тот же день, а всех Куприяновых собрали в кучу и отвезли на станцию Прудова Головня. А там в кукушечку и почухали они себе не то в сибирские топи, не то вообще на крайний север, к белым медведям. Их тогда многих из Лыкино в ту кукушечку набили, с детьми, с бабами, со стариками. Брошенные вещи потом приходили собирать на станцию и куликовцы, и волынцы, и даже некоторые лыкинцы, кто совсем уж без совести. Не влезли вещи в два тесных вагона, вот и погрузили в них только людей. Куда повезли, зачем, никто не говорил. И суда-то не было.

Вот с тех пор и стояли заколоченные, прогнившие, поросшие живучим сорняком дома сосланных и расстрелянных. Население умолкло, посуровело. Дети почти не рождались, потому что мужчин не осталось – кто в Красной Армии служит, кто сидит где-то в лагерях, кто в город сбежал от тяжких воспоминаний, а кто и спился до полного посинения.

Правда, попадались еще те, кому казалось, что советская власть поступает верно, потому что до нее тут были богачи, но было и нищее батрачество. Не все когда-то, после барского отпуска в шестидесятых годах девятнадцатого столетия, сумели завести крепкое хозяйство, обогатиться, зажить с расчетом на многие поколения вперед. Тысячи людей так и батрачили на сотню сильных и предприимчивых. И вот, что было обидно – барщина была когда-то освящена богом

и царем, и как бы ни была тяжела, все же она с их крестьянской кровью давно сжилась, а эти, новые баре, из своих, из голытьбы, кем освящались? Какой такой справедливостью? И не то, что удачливые или умелые они были, а просто наглые и жестокие. Вот, рассуждали многие, советская власть и внесла свой почин, все по полочкам разложила: нет, мол, богатых или бедных, а есть труженики и гниды, они же – кулаки, за тружеников можно постоять, а гнид – так сразу к ногтю. Однако и тут что-то случилось, что-то сразу пошло не так. Перемешались те и другие, и как будто уже новые баре пришли, да только назначенные властью, а не избранные. Эти баре уже никого не делили на тружеников и лодырей, а всех скопом считали врагами, которых нужно ободрать как липку, и все вывезти от земли в каменный город, а там уж точно одни пьяницы да лодыри живут. Из крестьян стали вдруг выбиваться уже не те, что раньше, не те, что имели везение или даже наглость, а те, кто искренне принимал новые лозунги и не собирался спросить за все обещания с новой власти о земле. Приехали учителя из города, милиционеры, чекисты и стали указывать, как жить, как все правильно понимать. Многие тут же забыли старые распри, и то, что одни батрачили на других, послушали своих горячих атаманов и собственных говорунов, да и восстали.

Дошли слухи, что и матросы поднялись в Кронштадте, и казаки на Дону вооружаются, сбиваются в стаи, и вообще народ не доволен красной властью, а Ленин с Троцким, так те

немецкие шпионы, командуют у них одни латыши да поляки с евреями. А если русские, так из уголовников, из жиганов, что еще при царе на каторге сидели. Еще и революционные китайцы, дескать, пришли, а они самые жестокие, вот-вот до Тамбовщины доберутся, только через Урал перевалятся и тогда всем один конец будет – что ты батраком был, что кулаком, им без разницы это.

Однако же советская власть оказалась куда более жестокой, чем любые китайцы или революционные латышские стрелки сами-по-себе. Прискакал командир, говорят, из бывших, из дворян, Тухачевским его звали, а с ним регулярные войска, и стали они направо и налево рубить головы, из орудий стрелять и даже немецким газом, как те же германцы в Первую мировую, душить восставших прямо в их домах, в тамбовских деревнях. Если восставшая деревня в ложбинке, так газ туда сам падал и всех разом убивал. А если деревня на горе стоит, то это чудный ориентир для артиллерии. Если на плоскогорье, то тут и конница справится, одними шашками да пулеметами. Оставшихся похватали и повезли кого куда – одних под трибунал отдали, вроде, как военных преступников, а других увезли в такие дальние дали, что ни туда, ни оттуда голоса не доходят.

Вот чем тогда крестьянское восстание кончилось! Агитаторы кричали с красных, кумачовых трибун, что это все кулачье затеяло и кулачье же за оружие взялось. А люди глаза прятали, потому что тут, в тамбовской губернии, одно вре-

мя, вспоминали шепотом старики, почитай, все были кулаками, кроме ленивых. Тоже врали, разумеется, но вот так говорили, а те, кто власть оправдывал, либо, мол, неместные, то есть приезжие из разных городов, либо окончательные подлецы и дураки. А сам Тамбов, рассказывали, был славным городом – туда вся Россия, и многие даже из-за границы, приезжали на ежегодные балы. Говорят, именно тогда архитектура города стала изменяться к лучшему.

Но все рухнуло в начале двадцатых. Тот самый чужак Тухачевский приехал и стал тут командовать войсками. Расстрелы без судов или со скорыми судами! Да и не он один лютовал! Гражданская война тогда зашла в свой завершающий круг и сожгла в нем целую губернию, славившуюся когда-то своим черноземом, который аж на четыре метра в глубину покрывал эту землю жирной сальной прослойкой. Как было не возмутиться, если отнимали после засухи двадцатого года весь урожай, хотя просили, умоляли о пощаде, ждали до последнего часа понимания! Но оно не пришло, а вместо него – войска. Думали, другие поддержат, но никто так и не дошел сюда.

Лыкино тоже полной ложкой эту горькую кашу распробовало. Большая семья совсем обмелела – двух молодых дядек взяли прямо с обрезами, верхом, а отца, Ивана Алексеевича Тарасова, арестовали за то, что не выдал младших братьев, хотя сам ни в чем не участвовал, и сослали его подальше. Он там и помер в одиночестве через четыре с половиной года,

от воспаления легких. Остался сын Павел, шесть сестер, самой маленькой из которых двенадцать лет (она низкорослая была, худущая, глупенькая совсем, палец сосала с утра до ночи, едва за пятилетнюю бы сошла), а остальные девки на выданье – от четырнадцати до семнадцати годов. Да Павлу девятнадцать уже. Четвертого февраля только вот стукнуло.

Вот во всей деревне точно также и остались одни старики, вдовы с детьми, по большей части чуть старше тринадцати-четырнадцати лет, но до призывного возраста не дотягивающие еще, да два десятка мужчин среднего возраста, на расплод, как говорил председатель их нищего колхоза.

Посмотрел, посмотрел помощник военкома с высоты своего седла на восьмерых недокормленных, за исключением Павла и еще одного крепкого парня, допризывников и отчаянно отмахнулся.

– Эх! Отсрочка вам всем будет на год. Кто ж по весне на пашню-то пойдет, если и вас забреем? Я же сам, хлопцы, из сельских, из полтавских. Революцией мобилизованный…

Он что-то почеркал огрызком химического карандаша в мятой бумаге со списком молодежи мужского рода и повернул коня обратно, к станции. А оттуда не то той же кукушкой, не то даже верхом, с докладом в Тамбов, к военкому. Вот шею-то намылит! Губерния никогда такие крохи под штык еще не ставила. Совсем обмелела народом. По головке не погладит. А кто виноват? Кто ссылал, кто расстреливал? Он, что ли? Где ж взять теперь призывных парней? А после

что будет? Неродившихся-то сколько еще!

На околице Лыкино помощника военкома догнал Павел Тарасов. Схватил рукой коня за узду и ловко остановил. Помощник покрылся краской сразу и нащупал кобуру с наганом. Лошадь захрапела, заплясала нервно на тонких длинных ногах.

– Чего! Чего! – вскрикнул помощник.

– Это…я…, товарищ, … с вопросом…

– Кто ты!

– Павел Иванович…, Тарасовы мы… У вас в списках…

– Помню. Здоровяк…, ты да еще один…

– Помочин Степка это… Остальные…слабые еще… Комсомолец я. Один тут. У нас ячейка на станции…

– Тебе чего надо? – помощник насупился, хотя это не шло его задорному лицу со вскинутыми белесыми бровями и веселыми карими глазами.

– Возьмите в Красную Армию…, хоть сейчас! Христом-богом прошу!

– Как это!

Помощник ловко соскочил с коня и быстро размял ноги, подергивая их то вправо, то влево. Он развернул командирскую сумку и вытащил знакомую смятую бумагу.

– Тарасов, Тарасов… Ах, вот ты! Так тебе еще до февраля так и так положено по закону. Только четвертого девятнадцать годков-то стукнет, чтобы в допризывниках числиться. А до двадцати одного тебе еще о-го-го сколько! Да и сам

призыв только осенью. Гуляй – не хочу! И потом, я вам всем еще год отсрочки даю. Мне за это, знаешь…

– Не надо, не надо мне отсрочки! Заберите, как девятнадцать исполнится, весной, пораньше…

– Да что ты, парень! Права не имею! Ты допризывник, а не призывник. Думаешь, в красной армии один мед пьют? Страна-то большая, от океана до океана! Сошлют вот… Матери, может, совсем не увидишь! Мать-то есть? Или батя? Братья, сестры?

– Мать, – опустив голову, будто о чем-то печальном ответил Павел, – Батя помер. Сестры имеются…

– На выданье, что ли?

Павел закивал и вдруг вскинул голову в ответ на веселый смех помощника.

– Ай, да, хитрюга! Ай, да Тарасов!

Он стал бить себя руками по бедрам, распаляясь все больше. Павел несмело улыбнулся, криво, исподлобья поглядывая на военного.

– Вот так, Паша, и я со своей Полтавы в войска подался. У меня аж семь сестер было на выданье…, половина из них, можно сказать, перезревших слив… Так мне любая служба те самым медом казалась! Кормить всех… Голодуха! Эх! Прибежал в Полтаву к одному хорошему военному человеку, в ноги бросился, сапоги хватаю – возьмите, говорю, верой и правдой служить буду. Не могу, кричу, сил нет! Один лямку тяну! Сестры бесприданницы! Все жрать хотят! Он меня

пожалел. Если б не он…! В Красную Армию определил, с властью человек… Хоть и временный был у нас, прикомандированный… Взяли меня в пулеметную роту, в стрелковый полк! На довольствие поставили…, для семьи даже кое-чего оставалось, для сестер. Трое из них, правда, все равно померли, от голода… Тяжелые были годы, паря! Ох, тяжелые! Я потом уж остался на сверхсрочную. И вот здесь теперь, у вас…на Тамбовщине, помощником у самого военкома. Так что, мне, парень, это известно!

Он, пока рассказывал, посерьезнел и, наконец, тяжело вздохнул.

– Вот что, паря… Сейчас я тебя никак взять не могу. Не положено. А вот будущей весной сам приезжай в Тамбов и сразу ко мне, в военкомат. Спроси помощника военкома Павлюченко. Это я и есть…Константин Зиновьевич Павлюченко. Покумекаем, посоветуемся… Может, и придумаем чего-нибудь путного.

Он зачем-то похлопал себя по груди, зацепился пальцем за ослабленную портупею и тут же стал ее заботливо затягивать, сопеть при этом. Паша закивал и бойко схватил руку помощника, стал трясти ее к его страшному удивлению и даже как будто к возмущению помощника военкома.

– Ну, ну! Вот чудак-то! Крепко ж вас тут скрутило, что в Красную Армию, сломя голову, бежите раньше срока. Может, хотя бы до осени-то потерпишь?

– Христом бога прошу! Честное комсомольское! Замол-

вите словечко, товарищ помощник военкома! Пусть весной берут… Пусть с девятнадцати… Я – куда прикажут! Ей богу!

– Так ведь отсчет действительной только с первого января следующего за призывом года начнется. Ты как? Это понимаешь?

– Всё, всё понимаю, товарищ помощник военкома.

– А другие-то не пойдут?

– Другие не знаю. Другим отсрочка… – почему-то испугавшись, поспешил сказать Павел.

Помощник ускакал, а Павел стал тайком готовиться к уходу. Мать почувствовала, принялась браниться. Просить стала, пугать, обещала проклясть, если сбежит. Но Павел был неумолим. Вот она и провожать его даже не стала, когда он в ту самую ночь уходил. Ему девятнадцать уже с четвертого февраля, а это уж середина марта. И так уступил матери! Крышу залатал, сарай починил, ограду заново поставил. Что еще надо! Сестры озлились, даже смотреть в его сторону не стали. Только младшая дурочка плакала. Сама не знает, почему. Ей-то никогда в возраст на выданье не войти. Плакала и плакала себе, глупая.

Павел выпрыгнул первым из «кукушки».

Сейчас, лежа на топчане в казарме и глядя в серый, давно небеленый потолок, он вспоминал, как торопливым шагом пошел в сторону города, до которого было еще двенадцать верст по размытой дороге от той станции, где кончалась узкоколейка. Когда-то здесь стояли большие амбары, куда сво-

зили зерно из семи деревень, а там вон две мельницы были… Большое богатство было! А что теперь? В амбарах держать стало нечего. Их превратили в железнодорожный склад: стащили сюда ржавые железки и всё бросили. Обе мельницы сгорели во время того мужицкого буйства. Говорят, их войска сожгли, по приказу Тухачевского, чтобы по кулакам больнее ударить. А ударили по всем разом! Вокруг станции теперь живет один нищий народ, хилый, невеселый не то что раньше! Рыночек здесь теперь совсем убогий! Чем же на нем торговать? Вот, разве, куликовцы, лыкинцы да волынцы и еще из пяти нищих деревень приедут да меняться станут дырой на дыру. Вот тебе и вся торговля. Все это в голове у Павла Тарасова стучало, повторяя слова каких-то мужиков из Лыкино, которые уже давно куда-то уехали, а многих увезли силой.

Павел буквально бегом пустился по дороге на Тамбов. Только в кусты свернул по естественным надобностям, а потом опять на дорогу выскочил и заспешил к городу бодрым шагом. Трое жиганов, бродяг, увязались за ним. Сначала потеряли его, когда он в лесок нырнул, заметались, громко заматерились, но вдруг, увидев его вновь быстро едущим по дороге, кинулись следом. Павел их приметил и на всякий случай подобрал тяжелый камень на дороге, сунул его в карман старого овчинного тулупчика, в котором ходил, начиная с осени и до поздней весны, вот уже года три, а то и все четыре. Тулуп достался Павлу от одного из младших братьев

отца, убитого за участие в бунте. Был он весь в дырах и прорехах, но Павел научился латать его как хороший скорняк и очень гордился своей искусной работой. От высокой влажности тулуп давно задубел, потемнел, покрылся грубой коркой, зато все еще хранил тепло. Воротник пришлось обшить войлоком, отчего он лихо торчал вверх, вместо пуговиц Павел приделал дубовые чурочки, ловко обстрогав их предварительно, а на полу нашил из того же войлока крепкие петли.

Жиганы задыхались, торопясь за ним, явно не поспевали за сильным молодым человеком. А он только усмехался – давай, мол, поглядим, какими вы меня догоните.

Павел хоть и доучился только до четвертого класса, часто по просьбе учительницы Анастасии Николаевны, у самых младших проводил уроки. Больше, кроме той самой Анастасии, да еще совсем уже больного, чахоточного Алексея Алексеевича, никто уроков не проводил. Не было никого. Потом школу и вовсе закрыли. Это когда Алексей Алексеевич умер. Заколотили, как другие дома. Так что Павел дальше четвертого класса так и не продвинулся. Правда, записали ему семь лет учебы, в благодарность за то, что помогал Анастасии Николаевне и Алексею Алексеевичу. Впрочем, если бы и не закрыли ее тогда, все равно ходить туда было почти уже некому – люди разъехались, увезли детей, а те, что еще оставались, с утра до ночи работали в поле со взрослыми, на огородах, да и по дому что-то бесконечно делали. Рабочих рук не хватало, а уж мужских и подавно. В тридцать первом году

буквально за неделю образовали колхоз. Поначалу туда всего за день свезли рабочих из Тамбова, в основном, спившихся, проворовавшихся личностей, поселили их в бывшей барской усадьбе, давно уже порушенной, холодной, с протекающей круглый год крышей – что в летние дожди, что в осенние ливни, да в зимние и весенние оттепели. Рабочих и оставшихся местных крестьян, не спрашивая, как раз в тот в скороспелый колхоз и записали, дав ему название «Октябрьские зори». Очень скоро городские рабочие разбежались, а крестьянам стало не под силу работать в этих нищих «зорях»: два трактора не работали, так и не завелись ни разу, скотина вымирала от недокорма и болезней, поля зарастали живучим сорняком. От всего колхоза осталась лишь школа, расположившаяся в одном из немногих теплых строений помещичьей усадьбы. Ее, эту школу, вписали в перечень имущества колхоза, как «культурный революционный объект», наряду с клубом. Клуб открылся лишь раз, там случилась кровавая поножовщина, и его приказано было заколотить до особого распоряжения. Тем более что располагался клуб в бывшей деревенской церкви с обрушившейся еще в двадцать первом году колокольней – в нее сразу два снаряда попали. А вот школа, вопреки всему, сохранилась. Она далеко в стороне была от той памятной бойни.

Говорили, что покойный Алексей Алексеевич налаживал тут обучение крестьян еще до революции, и все, кто умел читать, писать и считать, были его выкормышами. Он был на-

правлен сюда за участие в студенческих волнениях в ссылку еще в седьмом году из самой Москвы. Пригрел его и основал школу, которая тогда располагалась в большой теплой избе на задах имения, старый помещик и его сын, бывший артиллерийский офицер, получивший тяжелое ранение в японскую войну. Сам этот молодой инвалид-офицер вел в школе математику, химию и физику, а помещик, его отец, помогал Алексею Алексеевичу с преподаванием родного языка, литературы и латыни. Многих помещиков в губернии забавляло, что некоторые крестьянские юноши из Лыкино ни с того, ни с сего вставляли в речь латинские афоризмы, да еще очень к месту. В гражданскую войну, в середине восемнадцатого, старый помещик, пытаясь погасить пожар в школе или хотя бы спасти часть учебников и книг, сгорел живьем. Его сын-инвалид вдруг исчез. По рассказам, он якобы уехал на юг, а оттуда не то в Грецию, не то в Болгарию на постоянное жительство. Говорят, его спас какой-то любимый ученик отца, уже оформившийся к тому времени человек, занимавший в Красной армии ответственный пост.

Павел помещика и его сына, как и старую школьную избу, разумеется, не помнил – слишком был мал еще, но Алексея Алексеевича знал и перед ним робел, хоть тот ни разу не повысил голоса и даже не посмотрел с раздражением. Павел буквально трепетал перед его знаниями, его необъяснимой стойкостью, его каменной непреклонностью в виду любой власти – школа, говорил бывший революционный сту-

дент, есть такое же важное государственное начинание, как и больница, потому что она лечит от безумия и беспамятства все настоящие и будущие поколения. Без нее нет ничего сегодня и ничего не будет завтра. Если есть школа, есть государство, нет школы – нет государства. Коли школа дурная, то и государство дурное, утверждал он. Собственно, и с больницей также: лечат больных – будем жить, не лечат или дурно лечат – жить не будем. Стало быть, и государства в конце концов не станет.

Такими простыми формулами он убеждал и белых, и красных, и даже нетрезвых бандитов, захватывавших время от времени Лыкино и прилегающие территории. Каждый желал прослыть мудрым борцом с несправедливостью (хоть и грабил как обычный разбойник), а потому школу Алексея Алексеевича, переехавшую в отапливаемое небольшое помещение имения, до того бывшее зимним садом старого помещик, не трогали, и даже по этому поводу издавали собственные охранные указы. В одном из них разбой ник Петр Белоконь, прискакавший, видимо, из Украины со своей лихой шайкой, очень торжественно написал: «Дабы вольное христианское государство было, надлежит гимназии быть по всем добрым военным порядкам, а воли в школе никому даром не давать, потому как тут должны жить все в великом единоначалии, до смерти. Атаман и главный правитель всех губерний Петр Макарович Белоконь, собственноручно».

Таких указов у Алексея Алексеевича скопилось множе-

ство. Он их берег, а некоторые в рамках даже вывешивал на стенах, как, например, тот, атамана Петра Белоконя. В этой школе у Алексея Алексеевича и у новой учительницы Анастасии Николаевны, приехавшей сюда из Тамбова в двадцатом году, Павел и постигал начальные науки. Особенно он любил уроки истории, которые вел Алексей Алексеевич, да так вел, что казалось, учитель сам, лично прожил все эпохи, знал каждого, о ком рассказывал, видел все своими глазами, слышал своими ушами. Очень он был убедителен и тверд в своих знаниях. Покашляет, покашляет, сплюнет в белый платочек что-то, вздохнет и начнет новый рассказ.

Так вот Павел помнил уловку Александра Македонского, о которой покойный чахоточный учитель рассказывал с хитрой усмешкой. По той уловке, коварный молодой грек что есть силы улепетывал от врага, то убыстряя скорость, то замедляясь. Только враги приблизятся, а он, вроде бы, в панике, как будто последние силы собирает и опять отрывается от них. Они, распаленные близким запахом врага, давай опять догонять. И так много, много раз. А на самом деле его воины все были на выносливость тренированы просто великолепно! Им равных не было в этом! Каждый мог марафонскую дистанцию очень даже легко сделать. И даже рекорд поставить! Вот как он, Павел Тарасов. Атлет, красавец, на самого Александра Македонского похож, если по тому изображению судить, которое было в учебнике. Хотя тот грек ведь? Очень даже древний! Нос только у Пашки картошкой, а у

того правильной, классической формы.

А как измотаются, выдохнутся преследователи, Александр Великий свое войско разом разворачивает и с наскока прямо в лоб! Полчаса рубки и целой армии как не бывало! Они-то усталые, а его воины все как огурцы! Тоже атлеты…

Павел применял теперь такую же тактику и очень собой сейчас гордился. Это для него как игра в кошки-мышки была. Ничего, что он, вооруженный лишь камнем, один против трех мстительных бродяг, зарезавших, должно быть, уже немало разных олухов на пустынных дорогах. Весело ему! Даже будто бы радостно. Потому что он теперь свободен, потому что идет в Красную Армию, а там все ведь как братья. Все живут по приказу и все у них общее. Хорошее начало получается с этими жиганами! Воевать, так воевать!

А жиганы оказались не такими уж и слабыми. Шли теперь бойко, след в след. Мстительные черти! Чего с этой деревенщины взять? Котомка-то вон худая! Рубаха там, небось, да какие-нибудь рваные портянки. Тулупчик старенький, хоть и подшит как будто неплохо. Может, еще краюха хлеба, в лучшем случае. Тоже улов, конечно! Но разве за таким будешь гоняться, если ты в своем уме? Но вот то, что этот паренек унизил их в кукушке…, такое не прощается. Как же друг другу-то в глаза потом смотреть! И старший, который пнул ножом того волынца, потому что проиграл его в карты, тоже не желает позора. Потом не оправдаешься, когда кто-нибудь из двоих расскажет кому-нибудь. Значит, надо догнать и по-

решить наглеца. Сам виноват! Его же никто не проигрывал! Чего лез, спрашивается!

– Эй! Постой, паря! – крикнул уже после шестой версты старший из бродяг, тот, что был с сапожным ножом, – Спросить хотим. Да стой же ты! Неужто боишься! Вон здоровый какой! И камень у тебя… Я видел, как ты его подобрал. Да стой же ты, чудак!

Павел покраснел, почувствовав близость боя. Тут не открутиться уже никак. Все равно должно случиться. Хорошо бы, наверное, теперь, потому что он чувствовал, что сам уже выдыхается на пустынной холодной дороге, топнет в лужах, хоть и меньших, чем их, лыкинские, но все равно глубоких, болотистых. Еще немного и сам ослабнет!

За все время лишь одна грузовая машина, надсадно ноя мотором, прокачалась в сторону Тамбова. Павел махнул было рукой, но шофер даже головой не повел и машина скрылась за серым холмом.

Бродяги встали, и Павел встал. Повернулся к ним лицом, глубоко дыша, чтобы восстановить сердечный ритм, о чем он когда-то тоже прочитал в книге об одном удачливом воине. У Павла даже голова закружилась от переизбытка кислорода, и он умерил дыхание. Бродяги подошли ближе, стали волчьим полукругом. Старший осклабился холодным жиганским оскалом.

Павел с детских лет участвовал в деревенских кулачных боях. Случалось, что и один шел против пятерых, и чаще

всего одолевал их. Хотя его считали тихоней, потому что первым никогда в драку не лез и все пытался уладить миром. Когда резонов уже не хватало, тихий паренек, похожий на крупного, взрослеющего котенка, становился вдруг львом. Приходили и из соседних деревень биться, да и лыкинцы к ним наведывались за тем же. Но всегда были «железные правила» – без железа! Только на кулачках и лежачего не бить! Впятером на одного пожалуйста, если тот такой смелый, а за все остальное строго спросят обе стороны, и взрослые по головке не погладят.

Это не выветрилось даже с обветшанием мужского рода в тамбовской губернии.

Теперь Тарасов стоял на пустынной дороге против трех бродяг и прикидывал в уме, есть ли у них такие правила, или тут сунут ножом под ребро, а потом дорежут и забьют ногами? Склонялся к тому, что никаких благородных правил у этих волков нет и быть не может. Они дикие звери и законы у них звериные – зарезать слабого и сожрать, пока он еще теплый, парной. Только теперь Павел понял, что тут шутки в сторону, что, как говорила иной раз учительница Анастасия Николаевна, пан или пропал. Неужели пропал? Надо было для этого бежать из лыкинского нищего колхоза и от матери с сестрами!

– Ну, чего ты теперь такой пугливый? А? – продолжал недобро ухмыляться старый жиган, которого его товарищи в вагоне назвали Кукишем, – в теплушке на помощь деревен-

ских еще надеялся? А тут нет никого! Считай, и там не было. Да вот мы с устатку были, опять же узко там. А здесь – простор! Режь, не хочу!

Бродяга широко раскинул руки и глубоко, будто мечтательно вздохнул. В руках у него был крепко зажат тот же короткий, с косым лезвием, сапожный нож. Таким распорешь любую дубленую кожу от начала до края. С треском!

«Волки» сходились ближе, незаметно окружая одинокую жертву на дороге.

Даже сейчас, в ночной казарме, перед самым отъездом в Москву, Павел содрогнулся, вспоминая то чувство, которое захлестнуло его на той холодной и топкой дороге. В кукушке, в теплой узкой темени не было так страшно, потому что противник не мог подойти к нему с тыла, а тут впервые в жизни он ощутил ледяную близость смерти. В деревенских кулачных боях, под самогонными парами для куражу, тоже никогда не чувствовалось безвыходности, как это было здесь.

Все трое бродяг в серых, драных одеждах, точно в потрепанных волчьих шкурах, стали серьезными и настороженными. Приготовились к резне. Вот-вот задерут своей безжалостной сворой! Жить оставалось минуты. Он это ощутил даже ногами, которые вдруг непривычно дрогнули. Жиганы были низкорослыми, но кряжистыми, сухими. Словно ослабленные голодом волки. И от того – еще злее, еще сильнее! Ослаблено сильнее! Бывает же такое!

Павел медленно вытащил из кармана камень, зажал его

наподобие свинчатки в огромном своем кулаке и расставил для устойчивости чуть подрагивающие от нервного напряжения ноги. Сидор слетел с плеча и чавкнул в грязь. Павел подумал, что, если и достанет до них, то тут одной дракой уже не обойдется, потому что у врага нет такого правила – до первой крови, как в деревенских кулачках. Надо их калечить, а если выйдет – убивать! Вот такого он еще не делал. Не было у него этого в короткой его девятнадцатилетней жизни. И не чаял, что будет! Да еще здесь, на пустынной дороге, в полном одиночества. Некому тут прикрыть тыл, некому помочь.…Они это тоже знали.

Жиганы понимали, что судьба на их стороне – и потому, что путник одинок, и потому что ему неведомы правила боя до смерти, а не всего лишь до первой крови.

Первым вырвался вперед худой, но крепкий зверь, что стоял слева. Павел мгновенно заметил блеск железа в его кулаке. Значит, и там что-то есть! Мелькнуло длинное узкое лезвие. Павел отскочил и махнул кулаком. Рука просвистела рядом с головой нападавшего. Тот поскользнулся в грязи, но все же устоял, отчаянно балансируя руками. Тут же прыгнул Кукиш со своим сапожным ножом и задел Пашин тулуп под самым животом. Громко затрещало, но до тела короткое лезвие не достало. Жиган издал довольный клич и сделал еще один глубокий выпад. Павел резко выкинул вперед левый кулак, а бил он одинакого сильно обеими руками, и бродяга, как тогда в кукушке, свалился ничком на дорогу.

Из разбитого носа мощной струей хлынула кровь. Однако он тут же вскочил на ноги и вновь ударил лезвием, теперь повыше, стараясь попасть Павлу в горло, но вновь промахнулся. Павел отскочил назад, краем глаза увидев, что его «сидор» теперь у них в ногах. Третий бродяга с любопытством покосился на серый, вымазанный в грязи мешок и отбросил его ногой в сторону. В руках у него была финка с широким лезвием.

«Звери» решили поменять тактику, и один из них, тот, что напал первым, стал стремительно заходить со спины. Они готовились к мгновенной, одновременной атаке. С этим уже Павлу было бы не совладать.

Как раз в этот момент грохнул выстрел. Один, потом еще два подряд. Бродяги в панике завертелись, действительно, как волки, неожиданно застигнутые охотниками, и остановились, медленно поднимая вверх руки. Три ножа шлепнулись в грязь, мгновенно утопая в ней. На серых лицах у всех троих досада быстро сменялась лукавой беззащитностью, привычно рассчитанной на милость тех, кого бы они сами вовек не помиловали, будь сила на их стороне. Природные звериные инстинкты разрезались в их холодных головах житейским опытом условных рефлексов, которые диктовали им обязательное подчинение сильному. Кровожадность, оказывается, могла быть умерена посторонней силой, и на время заменена унизительной покорностью и даже законопослушным выражением согласия с ней. Именно это и отра-

зилось на их оскаленных рылах.

Павел увидел, как из-за резкого подъема дороги со стороны Тамбова выполз тот же грузовичок, что не остановился за две версты до этого. Теперь в нем, кроме шофера, был еще высокий военный в теплом белом кожухе и в синей фуражке блином. Он стоял на ступеньке, у распахнутой двери, и держался одной рукой за уступ крыши кабины. В другой руке у него плясал черный револьвер с длинным стволом.

– Стоять, волки тамбовские! – заорал военный.

Машина, все также надсадно воя двигателем, быстро приближалась.

Военный, не опуская револьвера, еще на ходу соскочил на дорогу, расплескивая жижу сапогами. Павел успел даже подумать, что жаль белого кожуха, сейчас он покроется черными каплями, и никогда их уже не ототрешь. Они что хочешь покрасят, как кровь. Земля-то тут вообще жирная, упрямая. В ней энергии столько, что ее ничем не умерить! А уж если свой след оставит, то пожизненно.

Военный, сухой, крепкий сорокалетний мужчина с тонкими черными усиками под длинным носом, с бритыми до синевы висками и затылком, толкнул сапогом старого бродягу Кукиша в зад и тот хлопнулся лицом вниз.

– А ну, братва, полезай на задок. В кузов, говорю! – приказал он и метнул стволом в сторону остановившейся, но не заглушенной машины.

Трое жиган, униженно кланяясь и даже стараясь улыб-

нуться беззубыми своими пастями, полезли назад, в открытый кузов.

Военный с прищуром осмотрел ладную фигуру Павла.

– Ты кто будешь?

– Тарасовы мы. Павел Иванович. Призывник. Одна тысяча девятьсот шестнадцатого года рождения, четвертого февраля. Из Лыкино…, туточки, местные.

– Куда путь держишь…один?

– В военкомат. Велено мне…

– Павлюченко, небось, велел?

– Он самый! Константин Зиновьевич…лично.

– Ясное дело, что лично. Что ж ты тут один-то? Вон как оно бывает! Если бы не мой Васька, шофер…, тут бы тебя и зарезали эти черти. Приехал и говорит, там по дороге парень здоровенный идет, а за ним трое, жиганы, похоже. Резать будут! Я говорю, а ты чего не остановился? А он мне, да кто ж его знает, может, и этот жиган? Уж больно здоров! Хорошо, мы успели…

Военный, не выпуская револьвера и косясь на кузов с бродягами, приказал:

– Садись в кабину, к Василию. А я в кузове поеду. Этих на мушке держать надо. Разберемся там, кто такие. Что за черти? Где их сковорода?

– Какая сковорода? – изумился Павел.

– Как какая? У попа спроси. Он знает. Та сковорода, на которой грешники тыщу лет жарятся! – он весело рассмеял-

ся.

– А сами? – Пашкины глаза ответили лукавой искоркой.

– Чего сами?

– А сами-то жарятся?

– А! Молодец! Быстро, однако, соображаешь. Мы и есть те, кто их на той сковороде жарить должен. Я – начальник угро. Копелев моя фамилия, Исаак Аронович. Слыхал?

– Неа, – Павел виновато покачал головой.

– Ну, еще услышишь… Хотя ты ведь служить уйдешь? А то давай к нам! На полное так сказать довольствие. С Константином я лично договорюсь. Жиды с хохлами завсегда миром договаривались, потому как вместе жарились! Только в этой жизни, потому что в той у нас ад разный, и наказывать будут за разное! – он опять расхохотался, но тут же посерьезнел и уже строго пробуравил Пашку темными глазами, – У тебя как с родными-то? Судимые имеются?

– Вроде, нет, – соврал Павел, но тут же подумал, что, если копнут, то про тех двух расстрелянных дядьев сразу узнают, и шкуру спустят за то, что наврал. А значит, надо не к этому идти, а к тому, к Павлюченко. Да поскорее!

Он поднял свой тощий «сидор» с земли и полез в кабину к хмурому, безучастному Василию. Слышал, как матюгаясь, забрался в кузов Копелев.

– Сидеть, волки! В кучу быстро сбились, свора ненасытная! К кабине спинами сели! Давай! Давай!

В Тамбове у одноэтажного развалленного здания милиции

бродяг выгрузили и погнали во двор за высокой оградой. Они хмуро смерили взглядом Павла и старший плюнул себе под ноги: неотомщенным остался и ножи потеряли.

Исаак Аронович внимательно прочитал колхозную справку Павла и, сунув ее ему обратно в руки, показал вдаль улицы.

– До конца тут и сразу направо, у церкви. Потом за ней налево и опять прямо до большого серого дома, каменного. За ним, в деревянной пристройке военкомат. Иди, брат! Служи! Вижу,…не выйдет у нас остаться. Небось, кто-то все-таки из ваших был под трибуналом? А?

Павел вздохнул и согласно качнул головой.

– Батя?

– Дядья. Оба.

– Расстреляли?

– Было…

– Тут кого не спроси, у всех эдак… Эх! Где народ-то набирать! Требуют чистоту кадров…, особенно началось после убийства Сергея Мироныча. А где ж тут взять-то таких! Что ни семья, то один, а то и поболее врагов там точно имеется… Да ты иди, иди. А то промерз насквозь.

Павел пошел в том направлении, в котором указал начальник угро. Через двадцать минут он уже искал в деревянной пристройке помощника военкома.

Перед отправкой в войска его на два дня, вместе еще с пятнадцатью призывниками, поселили в областной тюрьме,

где оборудовали пересыльный пункт и для блатных, и для политических, коих шло уже отсюда и сюда туча целая, и для призыва. Правда, призывники жили вольно, спали в незапертых камерах, на матрасах и с подушками, хоть и без белья, и гуляли во дворе, в своем закутке. На улицу не пускали. А что касается того, что без белья, так тут немногие знали, что это такое. Так что, не было неудобств. Тепло, сухо, кашу дают, чай и даже по два куска сахара и по три куска черного хлеба на день. Хорошая жизнь! Вот так она начинается, служба в РККА, с удовольствием думал Павел и улыбался своим мыслям. Ему воля была не нужна: что с ней делать, с этой волей? С солью не съешь, а так она как будто и без надобности. А неволя – это, оказывается, тепло и сытость, а еще будут казенная одежка и обувка, и отвечать требуется только за себя самого, а не за других, как на воле. Вот тебе командир, вот тебе товарищи, а повезет, так и те, кто пониже тебя, образуются. А коли не образуются, так и это, скажи-ка, неплохо! Всё спокойнее, всё тише, чем с бунтами да с разными недовольствами…

Старики говорят, во время бунтов красные забирали из деревень по десять, а то и по пятнадцать заложников, чтобы остальные выдали, где чего попрятано, кто в бандах, кто им помогает и всё такое… Если люди молчали, заложников расстреливали и брали новых. А все воля, будь она неладна! Кому она такая нужна, с заложниками-то?

Вот увезут сейчас на службу, страна-то большая, в ней

всякого добра вдоволь – и моря, говорят, имеются в избытке, и горы, и леса, городов уйма, а уж сел-то, деревень! Найдется и Павлу место на таком-то просторе. Может быть даже и саму Москву увидит! Чем черт не шутит! А остался бы в Лыкино, так что там? Сестры, мать, заботы, заботы, заботы, и все самолично делай, за все отвечай, каждому угождай. Разве ж это жизнь? Книжки почитаешь – мир большой, шумный, веселый, а в окошко выглянешь – вот он двор, за ним соседский домишко, а там уж и околица, потом рощица, степи, поля без конца и края… Вот вам и воля! Нет! Нужно ждать, пока увезут подальше, командируют в РККА. Ох, поскорее бы! А то тут, хоть и сытно, а все ж тюрьма она и есть тюрьма!

Но из призывников как раз в это самое РККА увезли не всех. Трое попали в войска НКВД. Приехали хозяева и разобрали, точно крепостных, хочешь, не хочешь, не спрашивали. Павла определили в Забайкальский пограничный округ, только-только восстановленный в своих тактических границах после долгого перерыва. О том, что и как там было раньше, Павел не знал, но говорили, будто простирался этот округ на тысячи километров во все стороны, и народу не хватало. Теперь, как будто бы, установили новый порядок. Там, за границами округа, серьезный враг, безжалостный, коварный – японец. Он китайцев угнетает, монголов, маньчжуров. Павлу это сказал один из призывников, самый старший.

– У меня там брательник служил, ранили его…, – мечтательно рассказывал невысокий светловолосый парень низ-

ким, сиплым голосом, – Пошли за сопки, залегли и ждут, когда чего-нибудь случится. Это у них служба такая, чтобы ждать, значит… И вроде, заснули… Их четверо было. Просыпается брательник, а вокруг уж япошки, стоят, смеются. Один, в очках, в кругленьких, дает ему посудину такую, вроде как гильза от снаряда, только с железной крышечкой и с ремешком. Пей, говорит, руська, это, говорит, цяй такой, зеленый, вкусный. Тебе, говорит, сейчас силы нужны, потому что с нами пойдешь. Брат сообразил, что это ихний чай. Они «чай» не говорят – «цяй» говорят. У них языки, видать, короткие, слабые, а болтают, вроде как вороны каркают, кар-кар, кар-кар! Глядит брательник спросонья, а трое наших уже тихо сидят в сторонке и тоже что-то хлебают. Оружие-то, винтовки, забрали у всех, пока спали… Ну, он вскочил, ногой этого япошку ударил промеж ног и за сопки бегом тикать! Япошки, конечно, стрелять начали, одна пуля, значит, брательнику попала в бок, в левый, сзади. Но он все равно убёг, до наших два дня шел, заплутал маленько… Ему благодарность лично от командира, а тех троих сразу приговорили…, если, мол, поймают, то прямо к стенке. Нечего ихний «цяй» даром хлебать, и еще спать, когда не велено! Вот такой там округ был…, теперь, вроде, порядок…

Перед самым отъездом неожиданно зашел Павлюченко с серым вещмешком, набитым чем-то тяжелым, объемным. Отвел в сторону Павла и доверчиво зашептал:

– Ты, паря, держи там ухо востро. Все ж таки, НКВД, как

ни крути, хоть и погранцы. Это не я тебя туда определил…, по фигуре ты им подошел. Уж больно силён ты, брат! Мне Исаак рассказывал, ты один тут с жиганами схлестнулся. Поаккуратней бы! Видать, хороший ты паренек! А я к тебе вот чего зашел… Хоть и не я тебя в Забайкалье командирую, все равно есть у меня к тебе просьбочка одна. Но сначала вопрос. Тебе полковник Герман Федорович Тарасов не родней приходится, случаем?

– Не знаю такого, товарищ Павлюченко, – растерянно пожал плечами Павел, – Однофамилец, должно быть. У нас полдеревни Тарасовы, а другая половина Куприяновы. Еще Поповы имеются, но тех мало. Зато их в Попово много. Почти все… А у нас вот еще Помочины, но тоже не очень…

Константин Зиновьевич недовольно поморщился:

– Да знаю я, знаю. Два года повестки развожу. Слушай меня, Павел, этот полковник, ну, Герман Федорович, однофамилец твой, хороший человек, честный, прямой. Смелый мужик. Он меня когда-то от беды спас. Было дело… Чуть не загремел я тогда… Но это прошлое уже всё. Однако я ему по гроб жизни обязан. Вот я ему тут собрал маленько… Сало там, бутыль самогона, чистого…слеза прямо, а не самогон. Что твоя водка! Да что водка! Спирт прямо медицинский и тот мусор рядом с ней. Ну, еще колбаски домашней, крупы тоже немного, гречки фунт, конфеток опять же маленько. Вот и всё. Так ты отвези ему. По дороге, если пожелаешь, отрежь себе сальца, колбаски. Ему хватит. Пить только не пей!

А то до добра не доведет! Снимут с эшелона и все пропадет. Знаю я этих… Кланяйся ему. Скажи честно, что я тебя туда лично не определял. Случайно это, хоть и однофамильцы. Ты его держись, брат. Говорю тебе, верный мужик, даром, что молодой! Он там большой человек. Начальник штаба погранокруга. Во всем Забайкалье один такой! Как приедешь, сразу к нему. Требуй! Дело, мол, и все! Про гостинцы лучше не говори никому. Кто его знает, как это у них там… Ты, того… Похоже, тихоня, хоть и махаться, вроде, умеешь. Держи марку, брат! Вы ж тамбовские, битые! А боец тихим не должен быть. Ты это имей в виду, а то заездят те, что громкие! Впрочем, на границе-то тихо должно быть. Там, может, так и надо, а?

Павел кивнул и опустил голову, глубоко вздыхая. Помощник военкома как будто с горькой жалостью в глазах усмехнулся одними лишь краешками губ.

Свой худой сидор, да серый вещмешок от Павлюченко – поклажа тяжелая, ответственная. Дважды в пути, а ехали через Москву, с одной ночной пересадкой, всего семнадцать полных суток, Павел Тарасов открывал мешок и втягивал носом запах сала и колбасы. Есть все время хотелось, но, несмотря на позволение Павлюченко, ни кусочка отрезать не посмел. Неловко как-то было. Да и разворачивать пришлось бы при посторонних. Как тут объяснить, откуда такое богатство. А без объяснения никак, пришлось бы угощать тогда. А ведь чужое! Как можно! Да и кормежка была хоть и не ахти

какая, а хлебом и картошкой их обеспечили. Чай пили даже с сахаром. А самогон покупали на станции. Чистейший тот, подарок для важного однофамильца, вез, не трогая.

До Москвы их ехало пятеро, там ночью добавили еще семерых и определили в вагон, который шел до Владивостока, через Читу. Везли морской призыв, пьяный, дебошный. Как узнали, что двое командированы на службу в НКВД – в Иркутск, в управление лагерей, и на границу, в Читу, притихли поначалу, недоверчиво косились. Потом напились и полезли драться. Особенно один, из Ленинграда. Бывший артист. Я, хвастался, самого адмирала Ушакова играл. Не гляди, что молодой. Загримировали как положено и сыграл. Так что… а ну встать! Смирно! Что за мешок такой везешь, увалень ты Тамбовский?

Павел молча обхватил своей ладонью, широкой как лопата, тонкое и узкое его лицо и мягко толкнул назад. Артист тут же улетел под полку и сконфуженно умолк. Больше про Ушакова не вспоминал, да и все с уважением поглядывали теперь на Тарасова. А Павел стеснялся себя. Простой, деревенский, ничего в жизни по существу не видел, а тут артисты… Да и то, что толкнул того, который «адмирал Ушаков», неловко как-то вышло. Может, он шутил? А Павел по простоте своей душевной не понял шутки. Ленинградец же, артист-то! А это, как известно, колыбель революции… У них там, может, все такие, а, может, это и не обидно вовсе, что так кричат? Может, так и надо?

Москву Тарасов совсем не видел и даже не узнал ее ночных, суровых очертаний по рисункам, которых было много в школе. Потому что попали в столицу глухой ночью, сырой и холодной. Даже снежок завьюжил, мартовский, коварный; как иголками колол лицо, руки. Да и погнали их с одного вокзала на другой почти под конвоем. Их везли два надменных красноармейца, еще один морской, всю дорогу пьяный, с белыми пустыми глазами. Павел так и не понял, какого он звания. По Москве, с вокзала на вокзал, ехали в трамвае с черными от копоти и грязи окнами. Трамвай раскачивался, бренчал, звенел, гудел тяжелыми колесами по рельсам, весь трясся, что вот-вот развалится. Как та их тамбовская «кукушка». Только сирых колхозников да пьяных жиганов не видно здесь было. Может быть, спали они в это время, а может быть, все были под арестом уже. И печки-буржуйки, конечно, тоже не было. А так – кукушка и кукушка! Однако и самой столицы не видно было из-за темноты и грязных окон.

Тарасов сошел один с эшелона в деревянной Чите ранним утром, «согласно предписанию», и сразу зашагал в штаб погранокруга, пешком, спрашивая у заспанных пешеходов дорогу. Снег еще лежал стылыми сугробами и ветер выл холодный, как смерть. Павел тащил на плечах серый вещмешок и свой почти уже пустой «сидор». Левая рука онемела от тяжести, плечо саднило. Продрог он необыкновенно! Но нес и нес свою дорогую поклажу, потому что чувствовал Павел Иванович Тарасов – то он судьбу свою несет. А это лишь

первые его слепые шаги по длинной и путаной дороге.

2. Однофамилец

Полковник Герман Тарасов оказался молодым человеком, лет не более тридцати. Павлюченко, похоже, даже был его старше, а в звании, тем не менее, состоял скромном. И чин – всего лишь помощник военкома. А тут – начальник штаба огромного пограничного округа. Всё в руках у такого человека и у командующего – и местные власти, и население, и даже каждый приезжий, потому что он автоматически подпадает под пристальное, сосредоточенное внимание всесильного НКВД. А тут ведь, вблизи границы, пограничники играли главную роль и в постоянном наблюдении за всем и всеми, и в ведении разведки на ближайшей иностранной территории в пределах нескольких десятков километров в ее глубину, и в контрразведывательных операциях на своей земле. Командование военного округа вынуждено было подчиняться интересам командования пограничного округа, хотя и являлось, казалось бы, руководством более широкого и мощного образования. Более того, оно находилось под постоянным контролем оперативных служб пограничников, давно уже вошедших в наркомат внутренних дел.

На внешности Германа Тарасова такая тяжелая ответственность сказалась не так, чтобы очень заметно. Даже Павел, человек не искушенный в оценках окружавших его людей и не знавший, какими эти люди должны быть в разных

жизненных обстоятельствах, и то был искренне удивлен. Он судил об образе пока еще незнакомого и невиданного им человека по восторженной, очень короткой, но, тем не менее, достаточно эмоциональной речи помощника тамбовского военкома.

Герман Федорович был сдержанным человеком, с несколько нарочитой серьезностью, стремящейся состарить его преждевременно, но в то же время, наносной, не соответствующей его веселому и даже бесшабашному характеру. В нем в постоянном сражении находились две могущественные силы: первая шла от природных его качеств, то есть от легкости характера, а вторая, напротив, была одета в тяжелые рыцарские доспехи, в которые военная жизнь его заковала еще в 1925 году, и звалась она долгом.

Итак, затянутый в командирские ремни и портупею, с тремя эмалевыми прямоугольниками в петлицах и с вышитыми на зеленом сукне на рукавах кумачовыми звездами, окантованными тонкой красной тесьмой, в зеленой фуражке, Герман Федорович выглядел военным франтом. Павел почти сразу узнал, что полковником Германа Тарасова звали лишь посторонние армейские чины, а внутри войск НКВД было принято другое звание – капитан госбезопасности, что как раз и соответствовало обычному армейскому полковнику.

Павел буквально прорвался к элегантному начальнику штаба округа в первое же утро. А перед тем, содрогаясь от холода и страха перед неизвестностью, ожидал его в тесной

дежурке у ворот штаба.

Его сначала настороженно, потом чуть свысока, а после уже и снисходительно приняли двое часовых, одетых в тяжелые белые тулупы и в форменные треухи, завязанные тесемками на бритых подбородках. Один из них был с трехлинейкой, а другой – с наганом в кобуре. Первый оказался тульским, а второй хабаровским уроженцем.

– А чего тебе, паря, начштаба так срочно понадобился? – подозрительно, но на самом деле, со жгучим любопытством, принятом в узком, закрытом сообществе людей, для которых любая новость – острое развлечение, несколько раз подряд вопрошал туляк.

Он при этом щурился, резал остреньким глазом.

– Надобно, – коротко отвечал Павел и краснел почему-то.

– А что это у тебя в сидоре? – не унимался тот же часовой.

– В ентом? – Павел, лукаво поглядывая на красноармейца, поднимал свой тощий мешок, играя вроде бы в дурачка и растягивая тем самым время.

– В ентом! – передразнивал тульчанин, – В ентом у тебя, деревня, драная рубаха, стираные портянки да вошь на аркане, чтоб не убёгла, не заплатив. Вон в том? Уж не бомба ли?

Хабаровец громко смеялся над издевательским тоном сослуживца, но при слове «бомба» становился серьезным и бдительным по виду.

О том, что один из Тулы, а второй из Хабаровска, Павел узнал уже через двадцать минут знакомства, когда ему плес-

нули в алюминиевую кружку обжагающе-горячего чая да кинули туда колотого сахара из красноармейского пайка.

– Не могу я вам, братцы, сказать… Тут не моя тайна, – оправдывался Павел и опять краснел до макушки, – Нет тут бомбы. Что я, враг какой! Товарищу полковнику от старого друга гостинец.

– Товарищу полковнику, товарищу полковнику…, – дразнил его туляк, – Там он «товарищ полковник», за воротами, а в погранвойсках, потому как мы энкаведе, это не так называется.

– А как? – искренне удивлялся Павел.

– Капитан госбезопасности, – на этот раз отвечал хабаровец, подняв к небу палец в вязаной коричневой перчатке, – вот как!

– Понял…, – хмуро кивал Павел и зажимал в ногах свой тяжелый мешок. Он и чай потом пил из кружки, не выпуская из-под ног своей тяжелой поклажи.

– Служить, значит? – спросил туляк задумчиво лишь для того, чтобы не потерять нить разговора.

– Верно…

– Так точно, а не «верно»! – вновь издевательски подлавливал его хабаровец.

– Так точно! Служить. Я сам попросился. Мне отсрочку на год давали, как всем у нас в деревне… мужиков-то совсем уж не осталось… А я все равно говорю, хочу в Красную Армию… Вот прислали…

– В НКВД тебя прислали, на границу, – как-то вдруг невесело буркнул хабаровец, – А где мужики-то ваши?

Павел засмущался и ответил в полголоса, сумрачно:

– Тамбовские мы.

– Ну и чо! – удивился хабаровец, – А мы хабаровские.

Но тут неожиданно за Павла как будто вступился туляк:

– Слыхал я…, пошинковали их в двадцатых шибко. Контрреволюция, вроде, банды, кулачье всякое… К нам они тоже драпали тогда. Я того не помню, мальцом еще был, а батя говорит, по ночам в окна стучали – пустите, ради Христа, с детьми, мол… Кого пускали, а кого…в шею и за порог. Иди, мол, стороной! Без тебя тут всякого хватает!

Он вздохнул тяжело. Хабаровец насупился.

– Так ты, паря, из этих…из кулаков, что ли! Контрреволюция, стало быть?

Павел вскочил на ноги и, как будто задыхаясь, выкрикнул:

– Да я тебе…!! С наганом стоишь тут! Думаешь, все можно? Какая я тебе контрреволюция? Кулака нашел! Да я комсомолец, если хочешь знать! Один на всю деревню. Впроголодь всю жизнь! Шестеро сестер, мать…одна, батя-то наш помер… В колхозе они все! От зори до зори! Контрреволюция! Сам ты контрик!

– Да ладно тебе! – успокаивал тульчанин и недовольно, с обидой почти за земляка, стрелял глазами в хабаровца, – Вроде, тихоня тихоней, а вон как тебя разобрало-то!

Тогда он и протянул Павлу кружку с чаем и с двумя оскол-

ками серого сахара.

– На вон…, чайку похлебай! Еще навоюешься, тихоня! Тут, брат, граница! Держи ухо востро!

Павел, все еще хмурясь, взял в руки обжигающую пальцы кружку и вспомнил, что и помощник военкома говорил ему «держать ухо востро». Дельный, оказывается, был совет. А то…«мужиков не осталось, сам попросился на службу». Кто его за язык тянул!

Один за другим прошли сквозь дежурку командиры в тулупах и шинелях. Все были в зеленых фуражках, продрогшие, с красными ушами от мороза.

Хабаровец бурчал им вслед:

– Фарсят командиры, зимнюю форму сами же нарушают и сами же требуют! Вон, уши аж отваливаются!

Зашевелились, разбежались заспанные красноармейцы из малочисленной роты охраны штаба. Они спали тут же, рядом, в узкой, теплой казарме. Со сменой караула вдруг появился и Герман Федорович.

– Вон он твой Тарасов, – успел шепнуть туляк и сразу развернулся к только что вошедшей смене, которая с первоначальным подозрением поглядывала на Павла. Опоздай начальник штаба и все бы повторилось сызнова – со скользкими вопросами и с лукавыми ответами.

Теперь, вспоминая то утро, Павел думал, что всё тогда было справедливо – и он бы сам допрашивал, и не доверял бы, и про бомбу бы непременно подумал. Это потому, что совсем

по-другому теперь закрутили ему мозги, и в каждом обычном явлении он теперь с подозрением видел двойной смысл, и скрытую опасность, и скрытую же выгоду для врага.

Также первоначально с подозрением, с молчаливым прищуром выслушал его в своем натопленном загодя кабинете начальник штаба пограничного округа. И только после того, как осторожно, с профессиональной изобретательностью осмотрел он подарки от помощника тамбовского военкома, широко улыбнулся. Но все равно спросил, почему Павел сюда попросился и кто у него в роду.

Павел тут же вспомнил еще одно предостережение Константина Зиновьевича: не я, мол, тебя сюда прислал, все случайно вышло, а сам ты, вроде как, и не просился. Граница все же, НКВД тут главный хозяин, как и везде, в общем-то. Да и японцы совсем рядом. До Китая ведь рукой подать, а там невесть что варится!

– Выходит, ненароком ты здесь, Павел Иванович? – с нарочитым, чуть курьезным, демонстративным уважением спросил полковник Тарасов.

– Так точно, – сразу усвоил принятое в армии обращение, еще с караулки, Павел, – Сказали, езжай. Я и поехал. Больше двух недель в пути…в эшелоне. А других к морю, во флот повезли. Еще одного оставили в Иркутске.

– Ну, ну! Проверим, – зачем-то строго блеснул серыми глазами начштаба.

Он вдруг сладко потянулся и погладил твердый, плотный

кусок сала с нежно-розовыми прожилочками и толстое стекло бутылки с прозрачным, словно чистая вода, самогоном. Павел вез все это в мешке, но теперь сам впервые увидел, что именно вез. И конфеты, и колбасу и все остальное. Удивился даже, как это все мирно и богато выглядело. Надо же, за спиной и в ногах у него ехало, а он охранял это, словно пограничник стережет границу с Маньчжурией и Китаем: впереди враг, а за спиной несметные богатства, о которых он и представления не имеет. Что-то было в этом хитрое, даже лукавое, и в то же время жалкое, напомнившее ему его нищету. Павлу стало вдруг невесело от такого сравнения, даже чуть обидно и унизительно.

– А говорил ли тебе Костя Павлюченко, как мы с ним сдружились? – не поворачиваясь к Павлу и продолжая задумчиво оглядывать подарки, вдруг спросил полковник.

Павел отрицательно покачал головой и точно застеснялся, что не знает этого.

– Значит, не говорил? А что он говорил?

– Хвалил вас, товарищ полковник…товарищ капитан госбезопасности. Очень хвалил!

– Полковником, полковником зови. Это другое…капитан госбезопасности. Значит, хвалил?

– Так точно.

Спустя только год от того же Германа Федоровича, выпившего и вдруг погрустневшего от воспоминаний, что неожиданно накатили на него, узнал Павел Тарасов короткую ис-

торию их знакомства с Павлюченко. Да и то только в общих чертах. Оказалось, что спас он тогда Константина Зиновьевича и кого-то из членов его семьи от неминуемой гибели в страшный голод в тридцать первом году. Дал службу и необходимый, хоть и худой, паек. Было это в Полтаве, куда на время, для помощи в прекращении нарастающих недовольств, направили Германа Тарасова. Голод высушил тогда и скрутил в рассыпающуюся от напряжения пружину всю Украину. С этого года и принят был на службу в РККА Константин Павлюченко, потому и прислал он в подарок съестное, хотя и не очень-то и нужное сейчас Герману Федоровичу. Отдавал долг той же или почти той же монетой, даже более щедрой по качеству, но все же менее важной по своей жизненной сути. Никогда теперь, хоть эшелон с хлебом присылай, не искупить ему той другой, жизненно необходимой, щедрости, коей одарил его в мертвенные годы Герман Тарасов, начинающий еще начальник в пограничных войсках НКВД.

С этой посылки и завязалась покровительственная дружба командира Германа Тарасова со скромным красноармейцем Павлом Тарасовым, с однофамильцем, в чем-то похожим на него самого, но в большей степени все же совершенно другим.

Герман Тарасов быстро делал военную карьеру. В войну, в июле 41-го, в тридцать пять лет он станет генералом, будет командовать 249-й стрелковой дивизией, оперативной группой войск 39-й армии, потом одной армией за другой – 24-

й, 41-й, 53-й, 70-й, отличится на Курской дуге и погибнет 19 октября 1944 года в Венгрии, в коротком, жестоком бою в местечке с непроизносимым для всякого, кроме венгров, названием – Кишуйсаллаш. Вот такая ему предстояла короткая и блестящая карьера – вспыхнул яркий факел и погас.

А пока он был легок и весел, и своего тамбовского однофамильца с самого начала старался держать при себе. Возможно, прежде всего, как связь со старым другом Павлюченко, которого любил памятью великодушного человека, к тому же склонного к доброму покровительству. Может быть, потому что еще и однофамилец и потому, что Павел был на удивление тихим и вежливым? Его даже прозвали Тихоней.

Но Павел ведь мог и вспылить, причем, без крика, без ругани, без угроз, а одним лишь решительным действием – стать упрямым и жестким, всерьез испугать своей непреклонностью и бесстрашием. Было ощущение, что в такие минуты он совершенно не дорожит жизнью. Задевать его побаивались все – и старшие, и равные сослуживцы.

Это ли нравилось Герману Федоровичу? Ведь как-то же уживались столь противоречивые и в то же время родственные качества в одном сильном молодом теле – миролюбие и сила. Не в этом ли состояло его обаяние – похож на медведя, показывающего острые зубы и крепкие когти лишь в опасности?

Герман Федорович еще дважды изменит жизнь Павла, даст ему дорогу, с которой тот долго не сможет сойти, спасет

от верной гибели, хоть и не закроет от всех бед.

Семью Германа Федоровича Павел толком не знал. Он никогда не был у того дома, да и не имел на это права. Раза два лишь видел начштаба издалека на воскресных гуляниях в городском саду под руку с тонкой, молодой женщиной. О ней говорили, что она могла бы стать актрисой, так была хороша, но предпочла роль жены.

Служба чуть более полутора лет в округе, часть из которой прошла в том же караульном взводе, где служили тульчанин и хабаровец, шла не трудно, не вязко. Были и неприятности, были и подозрения какие-то со стороны секретчиков, считавших всех тамбовцев патологическими врагами, были и радости, и удачи. Не без помощи начштаба и не без его решительной поддержки очень скоро Павел был произведен в сержанты. А это немало в тех войсках! Герман Федорович сам делал быструю карьеру и любил видеть ее скорость и в чужой судьбе, чем-то ему дорогой.

В последнюю ночь в Чите Павел Тарасов никак не мог заснуть. Он собрал свой довольно уже увесистый солдатский сидор, засунул его под койку в казарме окружной школы младшего начсостава и, прислушиваясь к глубокому дыханию курсантов, которыми командовал последние полгода, вспоминал ту свою дорогу – от калитки в доме матери до контрольно-пропускного пункта в штабе округа. И дальше – от первой встречи с Германом Федоровичем до предстоящего завтрашним ранним утром отъездом в Москву, следом за

ним, за слушателем академии Фрунзе. Так решил начштаба.

Поначалу хотел попросить разрешения съездить к матери в Лыкино, и на сестер посмотреть, и что-нибудь привезти каждой. Но незадолго до отъезда пришло письмо от матери. За нее писала одна из дочерей, сестер Павла. Слезливый, унизительный тон письма отвратил его от всякой мысли ехать в Лыкино, до того он показался ему мышиным писком из скользкой норки, от которой он с таким трудом отвязался.

Дела у них, писала сестра от имени матери, шли неплохо, хотя сестры и болели часто. Из военкомата, по распоряжению самого военкома, семье полагалась поддержка, как и всем, у кого на службе были сыновья. Мать очень загордилась этим, хотя именно она и не пускала Павла в ту ночь из дома, грозилась даже проклясть.

«Ты, сынок, служи, – писала теперь сестра от лица матери, – держи нашу семейную гордую личность, как оно требуется. А мы тут как-нибудь сами сможем. Сестры твои болеют, но товарищ военком очень поможливый и правильный мужчина, потому что подсылает к нам разных людей в лице лихих командиров и бойцов, а они прямо поддерживают селян, у которых кто-то верой и правдой служит в нашей непобедимой Красной армии. Нам, как не имеющим рабочего кормильца, а имеющим верного боевого бойца, полагаются разные правила и вспоможения в виде послабления во всем и даже хлебом и картошкой. Дали три отреза на платья и еще отрез на пальто, чтобы с уважением идти скрозь Лы-

кино, когда смотрят и всех берут завидки. Если будет чего у тебя, какая-никакая копейка содержания, будем рады получить, а если не будет, так оно и без этого все сладится. Сестры твои замуж не идут, потому как нет справных мужиков, а одни несмышленые парни, и те тоже, как и ты, сынок, скоро все уйдут как бойцы нашей непобедимой Красной армии. Остальные уже имеют невест и на наших девок, твоих болезных сестер, даже очень оскорбительно не глядят. И вообще никак не глядят. С тем остаемся, твои мать и сестрицы, кланяются и желают, чтоб ты не пропал».

Он ужаснулся этому письму. Повеяло тем серым и бесконечным, от чего тогда ночью он бежал, сломя голову. К своему величайшему стыду, Павел отбросил всякую мысль вернуться в Лыкино даже на день. Казалось, попади он туда, мать схватила бы его за голову и сунула бы ее к себе под руку, зажала намертво и лишила бы возможности дышать и жить без забот о вечно болеющих сестрах, об их будущем. Он понимал, что всего этого именно так никак не могло случиться, потому что он теперь принадлежит не семье, а целой стране, но страх испытать эти ощущения, коснуться их, заставил его найти себе главную защиту: он не может приехать ни на день, потому что нет такого разрешения от командования, а сам он не смеет просить.

Тарасов тогда еще не мог сознаться себе в том, что никогда больше не захочет вернуться, не захочет знать всего этого, и что, уйдя из Лыкино в ту ночь, он отрезал себя от всей

семьи навсегда, и даже от матери, так же, как это сделал когда-то отец. Он ведь не просто сбежал от преследования властей, а отбросил от себя то, что мертво тянуло его в серую нищету, в жалкий, безрадостный тупик. Но отец скоро умер, а Павел будет продолжать жить и по-возможности помогать, но видеть их всех ни за что больше не захочет.

Так и сложилась в дальнейшем его жизнь. Он отправлял в Лыкино деньги, иной раз, слал скромные посылки, но ни разу не приезжал при жизни матери и ни разу даже не сумел разбудить в себе желания увидеть их всех. Он и сам потом поражался этому, страдал от своей же собственной холодности, но преодолеть себя не мог. Все это страшно тянуло его назад, как тяжелый груз, и отвязаться от него можно было только тем, что привыкнуть к его существованию до того, чтобы больше не замечать.

…Павел ушел к московскому поезду с рассветом, когда еще было не холодно, даже чуть парило, и впопыхах забыл в казарме шинель. Впервые с ним такое. Чем укрываться теперь будет? А как в новом месте службы быть? Вот растяпа! А возвращаться поздно. Так и залез в общий вагон в летнем обмундировании с одним только «сидором» за спиной. Хорошо, проводник свою шинельку на ночь давал. Добрый старикан оказался. Вздыхал, ворчал чего-то, а шинель дал. Железнодорожное пальто. Не так, чтобы теплое, да и короткое оно, а все же как-то закрывает.

Побежала к Москве стылая осенняя дорога, теперь в об-

ратном направлении. И тот же Байкал за окнами, долго, могуче тянется, и Иркутск дымит также издалека, и мешочники носятся по платформам, как тогда, когда ехал сюда. Похоже, даже те же мешочники! Или они все на одно лицо, проворное, жуликоватое? Всё также, только дорога обратная.

3. Добрая москвичка Мария Ильинична

Вот теперь он узнал Москву по тем картинкам и фотографиям, которые видел много-много раз и в школе, и еще больше тут, в Чите. Поезд пришел в столицу в середине дня, опоздав на целых семь с половиной часов из-за потопления путей. Осень в том году, а шел 1936-й, выдалась дождливой и ветреной. Разлились многие реки на пути от Урала до Москвы. Поезд стоял подолгу на полустанках и просто в необитаемых, продуваемых всеми ветрами, полях. Потом он торопливо разгонялся, паровоз мощно и зло свистел, плевался паром и отбрасывал из трубы назад мелкие, колкие недогарки, которые метко стреляли Павлу в лицо, когда он высовывал голову в окно и нетерпеливо вглядывался вперед. Он любил смотреть, щурясь, как состав идет по широкой дуге вправо или влево, и любоваться мощным корпусом лоснящегося черного паровоза, облитого непрекращающимся дождем, и снопом искр, вырывающимися из высоченней паровозной трубы, и длинной цепью раскачивающихся неуклюжих вагонов, и даже скучным, серым пейзажем, где, казалось, нет места человеку, а только – восточному ветру и ледяному ливню. Дважды крупинки сажи, вылетевшие из трубы, угодили ему в правый глаз. Долго текли слезы, глаз краснел и болел. Но во сне со слезой выходил сор в виде мелкого черного пе-

сочка, и Павел вновь высовывал голову в окно в пустом тамбуре вагона.

Он до последней крошечки доел свой сухой паек, отрезал по тонкому кусочку от белого кирпичика сала и экономно мазал его тонким слоем на черный хлеб, который покупал на станциях. Разжился огурцами, яблоками, да еще бегал за кипятком. Последний черный сухарь сжевал перед самой Москвой. За шестеро с половиной суток совсем отощал.

Но вот и Москва, дымная, влажная, серая от сизого тумана. Однообразные перекрестия дорог, путаница разбегающихся рельсов, пакгаузы с коричневыми створками дверей, рядом с ними – люди на грузовичках, с мешками за плечами …грузят, разгружают…, шлагбаумы, за которыми коптят автомобили и терпеливо курящая около них шоферня, свистки, гудки, крошечные избушки у семафоров, словно собачьи будки, хмурые бабы с красными повязками на полных руках и с флажками, угрюмые мужики в железнодорожных фуражках, в мокрой тяжелой керзе, платформы с редким, промокшим насквозь народом в серой, одинаковой одежке, случайные взгляды, быстрые проводы поезда пустыми глазами – вот как приближалась столица к Павлу Ивановичу Тарасову.

А Ярославский вокзал в Москве кишел людьми, точно муравейник, когда кто-то неосторожно побеспокоит его деловитых обитателей, воткнув палку в самый центр их умного дома. По-видимому, так случилось и здесь – архитектор Шехтель, правда, вместо палки использовал высокую изящ-

ную башню, и люди-муравьи просто сошли с ума. Во всяком случае, Павлу именно так и показалось. Он сначала несмело проталкивался через бушующую толпу и в конце концов остановился перед огромным дворцовым флигелем, с колоннами и портиком, над которым волшебно сверкала буква «М».

Павел слышал о метро в Москве, о нем рассказывали буквально чудеса. Будто под землю люди едут по движущимся лестницам, залитым мягким светом, а в самом низу, в глубокой-преглубокой шахте, в анфиладах из чистого мрамора, уставленных прекрасными статуями, день и ночь идет удивительная, насыщенная счастьем жизнь. Во все стороны несутся голубые поезда, внутри которых всегда улыбающиеся люди сидят на мягких диванах и с удовольствием пьют чай с лимоном. А кто хочет, даже и пиво потягивает или мороженое кушает. А еще там чисто, как в больнице, и за порядком смотрят вежливые, хоть и строгие, женщины в красных фуражках и с красными же флажками.

Вот такие рассказывали в Чите истории еще летом. Позже он, наконец, решился проверить подлинность этих сказочных историй и впервые спустился в метро в Сокольниках, где на поверхности была контрольная военно-врачебная комиссия, недалеко от тюрьмы на Матросской тишине. Однако тут и лестница, называемая иностранным словом «эскалатор», была короче, и мрамора меньше, чем, как оказалось потом, на других станциях, и статуй тоже не так уж и мно-

го (одна всего!), а уж пива, чая с лимоном и мороженого он вообще не видел, когда терпеливо ехал от Сокольников до Парка Культуры. Станции были новые, их только-только открыли – многие за год до того, в 35-ом. Поэтому и самим москвичам всё было в новинку.

В день же прибытия в Москву (а Павел привык уже к военной терминологии, в соответствии с которой военнослужащий может только прибывать или убывать, а не приезжать или уезжать как штатский) он не решился спускаться в метро. Остановившись около милиционера в короткой серой накидке и в остроконечном белом шлеме, Павел помялся немного и, наконец, спросил, где тут общежитие военной академии «самого имени товарища Фрунзе».

Милиционер подозрительно осмотрел его с головы до ног и сразу потребовал документы. Дрожащей рукой, путаясь в клапане нагрудного кармана, Павел извлек командировочное предписание и красноармейскую книжку, и послушно протянул документы бдительному московскому стражу. Милиционер долго шевелил полными губами, с трудом разбирая мелкий шрифт, вертел туда-сюда предписание, как будто даже нюхал синюю, расплывшуюся печать и, наконец, возвращая обратно бумаги и привычно подтягивая руку к коротенькому козырьку шлема, ответил коротко, по-военному:

– На Зубовскую площадь вам, товарищ сержант пограничных войск. Там спросите, где у них общежитие. Следуйте на метро до станции «Парк Культуры» и оттуда пешим ходом

полторы версты.

Павел опасливо оглянулся на дворцовый флигель станции и, несмело улыбнувшись, попросил:

– А как бы мне…пешком до туда, товарищ милиционер? Боязно в метре-то.

– Пешком? – милиционер чуть обмяк, – Боязно, говоришь? И то верно! Я и сам когда на эту лестницу встаю, так весь в испарине. Страшно вниз-то ехать, в шахту! А как того…

Он поправил шлем, тронув козырек, и шепнул:

– Я, брат, тоже тут человек новый. Из Рязанской губернии мы. Приехал полгода назад. Так что, столицу я, конечно, уже знаю…, в основном…, спрашивают с нас… Как проехать или где чего важное находится. Опять же, бдительность проявлять… У нас ведь что у вас на границе! Но все остальное, извини, конечно…боязно! А пешком-то можно. Вон до Садового кольца дойдешь и бери круто вправо. Иди, пока до Зубовской площади не доберешься. Там влево улица и вправо, к памятнику имени красного графа Льва Николаевича Толстова, лично. «Воскресенье» написал. Слыхал? О простой бабе… Как ее буржуи судили на каторгу, бедолагу… И про войну еще…, как враг на Москву напал, француз…, Антанта, понимаешь… Мы им мир, а они нам войну! Эх! Всем-то Рассеюшка-то надобна! Вот там ему, графу, значит, памятник и поставили, почти что на Зубовской. Он жил рядышком, в своем доме, книжки писал… А у нас там

неподалеку свой госпиталь имеется… Потому и знаю. А еще на той площади строится квадратный серый дом. Узнаешь… Спрашивай у нашего брата и дойдешь. Документики только держи под рукой. А то сам понимаешь…бдительность…

– Есть такое дело! – Павел впервые улыбнулся, хотел было уже уйти, но вдруг дернул милиционера за рукав пальто и спросил с несмелым любопытством, – А ты откуда про Толстого-то знаешь? Неужто читал?

Милиционер густо покраснел, осмотрелся зачем-то вокруг и доверительно зашептал:

– Да у меня три класса образования… У тебя-то, у самого, сколько?

– Четыре…

– Во, видал! Но я учусь в школе… Три раза в неделю, по вечерам. Как будет семь классов, тогда, брат, только держись! А насчет графа Толстого…, так это у нас одна старая училка из старорежимных…, Афелия Карловна…, рассказывала. Она его лично знала, видала, значит…

– Как так знала? – Павел недоверчиво посмотрел на милиционера.

– Как! Как! Кто ж его знает, как! Видала и всё тут. Говорит, он в толстовке ходил, рубаха такая, из ситца. Потому и Толстой. Народ, должно быть, за это прозвал. И с бородой. А еще даже лапти носил. Во как! Красный, понимаешь, граф! Землю пахал… Я эти его книжки, про суд, значит, и про войну с Антантой непременно прочту. Так и знай, брат! Ты тоже

иди в школу… А то тут столица! Народу уйма, и грамотных ужас как много. Есть и мазурики, конечно! Но этих гадов мы быстро скрутим. Кайло в руки и каналы рыть… Чтоб белые корабли ходили.

Милиционер вдруг сменил настроение и вновь со строгостью спросил:

– А ты чего такой? Без шинелки… Не лето, кажись…

Павел смутился, опустил глаза:

– Ну…это…

– Уперли, что ль? Продрых, выходит? – Милиционер осуждающе покачал головой, потом тяжело вздохнул – Ничего! Как-нибудь! Я ж говорю, мазурики кругом! Люди учатся, образование получают, книжки хотят читать и вообще…, а эти, гады… Шинелки прут, сволочи!

Он хотел еще что-то важное сказать, но его настороженный взгляд вдруг остановился на двух подвижных пареньках в ушанках. Милиционер легко оттолкнул Павла и, быстро уходя в их сторону, крикнул:

– Иди, иди! Главное – бдительность, брат!

Шел Павел в этот день часа три, не меньше. Сначала запутался, где тут Садовое кольцо, мимо прошел, вернулся, забыл, куда надо – вправо или влево, спрашивал, мок под дождем, который то хлестал как из ведра, а то еле накрапывал. Люди бежали мимо, прятались от непогоды, и были все хмурыми, неприветливыми и все как один бдительными. Ему показалось, что на границе было легче. Москву он за все это

сразу невзлюбил и очень пожалел, что согласился на требование начштаба следовать за ним в холодную, мокрую и в то же время «сухую» столицу. По улицам неслись автомобили, какие ему раньше видеть не приходилось.

Пока добирался до Зубовской, кое-какой опыт уже приобрел и потому сразу, издалека, увидел стройку большого квадратного дома из серого камня, и разлет улиц влево и вправо. Свернул, как советовал милиционер, и тут перед ним открылся памятник бородатого, согбенного старца, лысого и печального. Старец как будто рос из камня и внимательно смотрел вниз, будто искал собственные ноги с лаптями. А справа от каменного старца тянулось длинное высокое здание, в котором к тому времени уже ярко и уютно светились все окошки. Здание это словно приросло на правах бедного родственника к гигантскому дворцу с роскошной высокой лестницей. Множество военных сновало туда-сюда мимо строгих, подтянутых часовых с винтовками и с наганами на ремнях, в длиннополых шинелях. Часовые стояли в дверях или прогуливались вдоль лестницы, козыряя встречным командирам и постреливая внимательными глазами вокруг. Здесь тоже все говорило о бдительности. Павел с удивлением подумал, что граница, с которой он приехал в Москву, далеко, а испуга здесь даже больше. Он всегда про себя эти бдительность так и называл – испугом.

В длинном сером здании с множеством окон было общежитие академии. Павла долго с подозрением осматривал с

головы до ног дежурный командир с квадратиком в петличке, значит, комвзвода РККА, пехота по-старому, стрелок, и наконец молча указал глазами на стену, у которой сержант пограничных войск НКВД Павел Тарасов, то есть явно чуждый элемент в этом совершенно армейском гнездилище, должен был подождать, пока тут разыщут его начштаба, слушателя академии.

– Прибыл?! – вместо приветствия обрадовано крикнул Герман Федорович, энергично сбежавший по узкой лестнице вниз к КПП общежития. Он был в форме, но без ремней и даже в серых, войлочных тапках на босу ногу.

Павел покраснел от смущения и, оправляя под ремень мокрую насквозь гимнастерку, вытянулся. Хотел было доложить по уставному, даже вскинул руку к козырьку зеленой фуражки, но Тарасов устало махнул ему рукой:

– Отставить. Ты того…, постой пока тут…, я сейчас договорюсь. Ночь проведешь в караульном взводе, у них там есть, где поспать, отдохнуть с дороги, значит, а утром поедешь к нашим, доложишь…

Герман Федорович куда-то быстро ушлепал в своих штатских тапках, вернулся только через полчаса с серой бумагой в руке.

– Выйдешь сейчас через это парадное и забирай вправо, до первой двери, у лестницы. Там караулка. Отдашь начальнику вот эту бумагу. Ничего не объясняй. Если будут спрашивать, скажи, полковник Тарасов велел, слушатель, мол,

начштаба… Ну, сам знаешь! А завтра, в семь тридцать быть здесь как штык, с вещами. Я тебе новую инструкцию дам. Давай, брат. Кругом и вперед! Чаю попроси…и сухарей. Отощал вон совсем! Да ты не тушуйся! Тихий ты какой-то, Тарасов! Несмелый. А еще однофамилец!

Закончился первый в его жизни московский день. Впереди была целая жизнь, оказавшаяся и долгой, и тяжелой, со многими расставаниями, с потерями и встречами.

Второй день начался со знакомства, которое определит всю его жизнь.

Ранним утром вновь застучал каблучками дождь, вдруг остановился, задумался на мгновение и побежал, засеменив на цыпочках.

В семь тридцать выбежавший на минуту из общежития Герман Федорович уже в полной форме опять сунул Павлу в руку бумажку с адресом.

– Иди на площадь Дзержинского… Знаешь такую? Поспрашивай, если чего… Там прямо в первый дом, к дежурному, доложи кто ты, откуда, предписание предъяви. Направят, куда следует.

– А найти-то как площадь эту?

– Ах беда с вами! Лубянкой ее раньше звали, до 26-го года. Улицы там Большая, Малая Лубянки…, еще улица Кирова…, раньше была Мясницкой … Ну, как тебе еще объяснить? Иди вон прямо через площадь, по дли-и-и-нной улице, она потом расширяться станет, это уж Волхонка, ты опять

иди дальше, а там уж и Кремль. Все прямо и прямо отсюда. Никуда не сворачивай. Кремль-то узнаешь?

Павел кивнул, краснея. Кремль узнает, а как же! Полковник посмотрел на него недоверчиво, вздохнул и покачал головой.

– Обогнешь его слева и иди себе, пока не дойдешь до самой Лубянки. Только ты людям говори – площадь Дзержинского. Нынче ее Лубянкой-то никто не называет. Ты запомни, это самый центр…, сердце, можно сказать, Родины.

– А про сердце говорить?

– Сдурел совсем, парень! Знаешь чего, вот тебе еще один адресок, там же…, – Герман Федорович сначала как будто поколебался, потом записал еще какую-то улицу и номер дома, поставил их торопливым почерком криво на бумажке, – Ты, прежде чем предъявить предписание, туда сперва зайди. Спроси Марию Ильиничну Кастальскую. Это дальняя моя родня, они сами-то с Владимира. Маша в управлении кадров НКВД служит. Между прочим, немного-немало младший лейтенант государственной безопасности уже. Хоть и молодая… да тебя постарше будет, на четыре годика… Но девка хоть куда! В прошлом месяце ее из сержантов госбезопасности в младшие лейтенанты произвели. Скажи, мой ты человек, служили в Забайкалье, мол, вот, надо для прохождения дальнейшей… О тебе тут уже знают, я ведь заранее все устроил. Как положено. Но она пусть подтолкнет, подыщет чего-нибудь, на довольствие поставит, койку даст… Те-

бе еще сколько служить на действительной?

– Год мне с небольшим. Я потом на сверхсрочной останусь. Возьмут, товарищ полковник?

– Возьмут, – Герман Федорович сказал это так, точно спрашивали его о лишнем, и без того понятном.

До Кремля топал долго, мок под непрерывным дождем. Народу встречалось мало, все попрятались. Время года для Москвы плохое – камень хоть и не промокает, а весь будто течет, сочится. Опять Москва не приглянулась. Еще и большая, тягучая. Скучная. Шел и все думал, а Кремль какой? Как на картинках? Или другой? Торопился даже к нему, чтобы сравнить и, может быть, развеять дурные впечатления о столице. И еще ворошило душу то, что с каждым шагом он ближе к самому Сталину. Тот же в Кремле сидит, в окно смотрит! Трубочку, небось, свою покуривает. А вдруг увидит пограничника Павла Тарасова в окошко! Что подумает? Кто это идет такой согнутый, мокрый, в зеленой фуражке, с солдатским сидором? Почему один? Где его часть? Где шинель? Где командир, товарищи где? А ну-ка, сходите, проверьте. Документы спросите. Да построже! А сам смеяться будет в усы.

Павел улыбнулся, прибавил шагу. Ему вдруг захотелось позабавить Сталина. Он уже точно знал, что тот стоит у окна и ждет его, забайкальского пограничника, комсомольца, тамбовского волчонка.

На Волхонке, о которой говорил полковник, его впервые

остановил патруль – командир с бордовым околышем фуражки, в мокрой накидке, и два бойца с трехлинейками, в шинелях, насквозь прошитые дождем. У красноармейцев аж с носов капало, а на штыках дрожали крупные капли, на самом острие.

– Кто такой? Предъяви документы.

На петлицах у командира квадратики. Значит, комвзвода. Невелика птица, а козырять надо. Патруль, все же! Да еще столичный!

– Виноват…, товарищ комвзвода. Следую для дальнейшего прохождения… Сержант Павел Иванович Тарасов. Забайкальский пограничный округ.

– Откуда идете, товарищ сержант? – этот вопрос был уже вежливее, потому что комвзвода теперь разглядел цвет фуражки (она же промокла насквозь, сразу не видно), да и в предписании все ясно сказано. И книжка красноармейца. Все имеется. Все законно. Это пронеслось у Павла в голове, как будто он плыл по реке, устал и вдруг в тумане увидел близкую землю. Оттого стало спокойнее на душе и сил будто прибавилось. Павел не собирался тонуть в этом каменном море безразличия и ненастья.

– Из академии, товарищ командир. Там у меня начштаба учится.

– Из академии Фрунзе?

– Чего? …Виноват, товарищ комвзвода, не допонял я.

– Говорю, академия имени товарища Фрунзе?

– Так точно. Я там в караулке ночевал… Прибыл-то вчера, да эшелон опоздал. Пришлось вот…

– А где ж ваша шинель, товарищ сержант?

– Виноват. …Украли…в эшелоне, товарищ комвзвода, – не хотелось Павлу говорить, что сам же и забыл шинель в окружной школе. Это еще хуже. Подумает еще, что пьяный был. Он ответил так, еще и потому что вспомнил вчерашнего милиционера-рязанца, который сам же подсказал ему ответ своим торопливым заблуждением.

– Что ж ты, растяпа! А как там на границе-то, тихо? Самураи как?

– Чего им сделается-то, самураям! У нас сила. Боятся они нас.

– Это правильно! Ну, держи свои бумаги, герой.

Комвзвода вернул документы Тарасову, и рука его взлетела к плоскому, прямому козырьку и тут же сникла вниз, под накидку.

Кремль ахнул перед ним неожиданно, как из-под земли вырос. Как будто бы ждал встречи, знал, какой он – по фотографиям, по иллюстрациям, а он выскочил, словно здоровенный каменный черт из табакерки и оказался совсем не таким, каким он его ожидал встретить. Павел замер от нахлынувших на него неясных, пугающих ощущений и даже рот раскрыл. Тут он совсем забыл, что на него в окно Сталин смотрит, трубку курит и в добрые свои усы смеется. Наверное, и Сталин о нем забыл, потому что не послал другого

патруля. Тот, на Волхонке, был последним.

А Кремль стоял могучий, в дымке, с красной кирпичной стеной, с башнями, как сторожами, с мостом, рекой, а по реке одинокий кораблик плыл и чадил. Шуршали шинами черные лаковые машины, быстро проскакивали, а одна даже в ближние ворота Кремля въехала, ей часовой козырнул, а какой-то командир приветливо закивал, как знакомому. Павел так напрягал зрение, что все это даже издалека разглядел.

Он стал обходить Кремль стороной, но глаз от него оторвать не мог. Шел влево, далеко, мимо мокрых домов, мимо длинного белого здания с колоннами. Из-за красной стены свежестью поблескивали гордые и в то же время трогательные маковки церквей. Как далекий, сказочный город. Все правильно про него написано – цитадель!

Вот, значит, где сам великий Сталин свою трубку курит и о нас думает!

Душа Павла наполнилась каким-то незнакомым ему содержанием, захлестнуло что-то горячее, даже слезы на глазах выступили. Он украдкой оглянулся вокруг – не видит ли кто, что пограничник разнюнился тут. Но людей по-прежнему было мало, а те, что встречались, думали о чем-то своем, столичном, и бежали каждый в своем направлении. Дождь продолжал нещадно поливать, спина от холода сама стала точно каменной.

Он ускорил шаг, миновал каскад красных зданий, и чуть уже было не проморгал площадь Дзержинского. Но взгляд

его задержал большой дом с круглыми часами в центре, на самом наверху. Он оглянулся, увидел бодренького старичка, смешно прыгающего через лужи под холодным косым дождем.

– Папаша! – крикнул Павел, – Папаша! Постой!

Старичок остановился, угодив прямо в центр глубокой лужи, и недовольно поднял на Павла бесцветные, мелкие глазки.

– Что вам, товарищ военный? Быстрее, а то ведь дождь хлещет. Экий вы недотепа!

– Извините, папаша. Я площадь Дзержинского ищу… Не эта ли?

– Эта, эта… Лубянская…по-старому.

– А разве теперь можно по-старому? – спросил Павел удивленно, вспомнив предостережение полковника.

Старик сник, что-то недовольно буркнул себе под нос и запрыгал дальше по лужам, обрызгав и Павла и себя самого.

Павел посмотрел на два огромных, неуклюжих трамвая, что со звоном и режущим слух скрежетом закладывали круг по широкой площади, на машины, похожие на большие и малые черные сундучки на колесиках, и впервые улыбнулся Москве. Было в этом во всем, и в трамваях, и в автомобилях, и в огромном здании с часами, и даже в том прыгающем через лужи старичке, и в косом дожде, и в длинных, крученых и прямых, улицах, да и в нем самом что-то такое, чего он не представлял раньше и что, должно быть, греет русскую душу

своей мощью, и своей неожиданной хрупкостью. И тут он подумал, что старик-то на русского не похож – слишком длинноног и худ. Не иностранец, вроде? А, может, грузин? Или еще кто? Но душу греет…это уж точно! И прыгает смешно!

Павел, оглядываясь, чтобы не угодить под автомобиль или, что еще хуже, как ему казалось, под трамвай, быстрым шагом перешел площадь. Чуть похолодало, без шинели становилось уже совсем плохо. Подул ледяной ветер, закрутив серой зыбью лужи и бросив в лицо будто целое ведро воды. Осень ведь с каждым часом шла к зиме, а не обратно. Черт его дернул забыть шинель! Он, ёжась, остановился под стеной большого дома и огляделся. Тротуар около старого, солидного здания был пуст, если не считать двух милиционеров в накидках и в касках. Люди обычно оказывались здесь либо не по собственной воле (их могли вызвать сюда или привезти), либо потому что здесь, в этом здании, протекала их секретная служба. Всё это Павел понял лишь много позже, а пока он чувствовал себя промерзшей насквозь деревянной чуркой, кем-то сброшенной на чужую холодную землю.

Тарасов не знал, что дом когда-то, в конце прошлого столетия, был построен страховым общество «Россия» на месте купленного тут сначала одного, а потом еще одного, прилегающего, участка земли. После революции в одном из пристроенных корпусов расселились обыкновенные люди, в небольших квартирках, а, когда сюда переехал из ближайшего особняка на Большой Лубянке наркомат внутренних дел, всех

выселили. Некоторые из жильцов потом были возвращены в этот дом, а, точнее, в его подвалы, где разместилась внутренняя тюрьма ОГПУ. Сейчас видно было, что власти готовились к каким-то масштабным строительным работам, стремясь соединить два здания бывшего страхового общества. Однако то ли проект еще был не утвержден, то ли готовились загодя, но даже свежий взгляд Павла Тарасова уловил какую-то небрежность во всем облике здания, его незавершенность.

Однако задумываться об этом он не стал, потому что торопился разыскать по адресу, написанным половником, еще одно помещение, совсем рядом, в котором должна была находиться родственница Германа Федоровича младший лейтенант государственной безопасности Мария Ильинична Кастальская, сотрудница управления кадров НКВД.

Имя, отчество и фамилия звучали очень непривычно и как-то старомодно для неискушенного уха Павла Тарасова. Как будто бы даже по-барски. Даже страшно было обратиться к такой женщине. Должно быть, она сухая, строгая, холодная, надменная, которая таких, как Павел, и в упор не видит.

Однако Кастальская оказалась невысокой пышкой, с серыми, несмелыми глазками, со светлой густой косой, оплетенной вокруг маленькой головки, с курносым смешным носиком, и вообще, она была как будто бы даже стеснительной, скромной. Таких девчонок на памяти Павла у них в Лыкино было немало – конопатые (и у этой сидели бледные коно-

пушки на носу), неуклюжие, быстро заливающиеся краской. Низкие тяжелые зады, круглые икры коротких крепких ног, небольшая грудь. Вот как они все выглядели, будто, если уж не родные, то двоюродные или пусть даже троюродные сестры.

Такая их «сестра» и вышла к красноармейскому посту в старинном особняке рядом с тем огромным домом на площади Дзержинского. Именно этот адрес был криво написан рукой Германа Федоровича. На девушке была надета мятая, как будто даже неопрятная, форма командира НКВД. На ногах были теплые носочки и черные туфельки со сбитыми носами.

– Я о вас не знаю, товарищ сержант, – сразу сказала Мария Ильинична и густо покраснела.

– Виноват, товарищ младший лейтенант госбезопасности, – засмущался Павел, – Герман Федорович велел… Вот написал адресочек…

Павел отводил глаза от неприглядной девушки, боялся, что выдаст себя, а этого никак нельзя было. И из-за того, что она приходилась полковнику Тарасову родней, и потому, что была в важном, с его точки зрения, чине в кадровой системе ведомства, и потому что женщина, да и вообще, как можно на всё смотреть вот так…будто ты не человек, а похотливое животное какое-то!

– Вы не родня нам? – спросила Мария Ильинична даже с какой-то надеждой, что все окажется очень просто, как у

родственников, – у меня мамаша-то по отцу тоже Тарасова.

– Никак нет! – с очевидным сожалением, будто извиняясь, ответил Павел и покачал головой.

– А то вы ведь тоже Тарасов…, – все еще с надеждой в голосе настаивала девушка.

– Видать, однофамильцы… Мы-то из Тамбовских, Лыкинские мы… Деревушка имеется такая маленькая, но Тарасовых там много …

Дальше все пошло, словно маслом смазанное. Младший лейтенант забрала предписание, красноармейскую книжку, вынесла в караулку бумагу, перо, чернильницу в виде железной баночки с крышкой, анкету какую-то. Потом она завела Павла в маленькое, узенькое помещение сразу за караулкой, провонявшее потом и сапогами; зато там был щербатый стол, покрытый наполовину толстой бежевой скатертью, два табурета и пыльная лампочка на длинной витом проводе под низким потолком.

– Тут, вообще-то, товарищ сержант пограничной службы, не положено посторонним. Но внутрь вам идти тоже не надо. Садитесь, писать будем. Грамотный или как?

– Грамотный, – Павел опять покраснел, – семь классов… Но честно…, у меня только четыре, а семь мне записали, потому что я в школе помогал, уроки иногда вел у младших…

– Дело ваше еще в штабе округа, должно быть… Но мы запросим. Там ведь все бумаги в порядке? – младший лейтенант вдруг подозрительно прищурилась и как будто, целясь

прямо в душу, уставилась Павлу в глаза.

Он вздрогнул, подумав, что ей правильно дали новое звание, и что она не деревенская девка, а настоящий сотрудник, опытный и осторожный. Павел больше не замечал ее некрасивости. Даже напротив, она показалась ему не то, чтобы вдруг обаятельной, но все же в чем-то лучше, чем другие, каких он встречал – умнее, ответственнее, значимей. Именно, что так! Она делала какое-то очень и очень важное государственное дело и ей его доверили всё полностью – от первого разговора с новым, чужим пока еще, человеком, до всех мельчайших подробностей его жизни, и скрытых, и явных. От нее ничто не должно спрятаться за его стеснением или, положим, хитростью и коварством. Она, эта полненькая, похожая на деревенский сундучок, девушка, как будто так же, как Павел, стояла на пограничной черте, за которой всякий был врагом, и через которую можно пропустить только после неторопливой, умной и строгой проверки.

Мария Ильинична стала вдруг нравиться Павлу. Сидя за щербатым столом, соприкасаясь локтями, чувствуя дыхание друг друга, они стали на этот час, пока заполняли анкету и Павел выводил на бумаге куцым почерком крошечную свою биографию, ближе и даже будто родными. Именно родными, потому что делали сейчас одно тайное общее дело в пользу Павла, точно осуществляли какой-то мелкий заговор. Такие мысли раньше Павла не посещали; он не знал, что такое искреннее участие людей в судьбах друг друга, когда над кем-

то из них мрачно нависает бездушный государственный аппарат, а от одного маленького, но достаточно влиятельного человека зависит судьба второго. Впрочем, и помощник военкома и начальник УГРО в Тамбове тоже когда-то подхватили его верными руками, а потом еще передали в столь же доброжелательные руки полковника Германа Тарасова, но это делалось как-то очень уж по-мужски, с оглядкой на собственные судьбы, а тут девочка в нелепой форме, совсем чужая, незнакомая, сопит рядом с ним за столом, волнуется над каждой его буквой и краснеет от того, что рядом с ней, очень близко, сидит он, насквозь промокший тамбовский увалень. Он уж и не помнил сейчас, что они по существу встретились на той же пунктирной прямой, в начале которой как раз и стоял участливый помощник военкома.

Когда Павел задумчиво обмакнул ученическое перо в чернильницу с фиолетовыми чернилами и поднял на Марию Ильиничну глаза, она дрогнула ресницами, оказавшимися, хоть и слишком светлыми, но густыми и волнующе длинными.

– Что задумались? Забыли чего?

– Никак нет, товарищ младший лейтенант… Тут такое дело… Два родных брата отца…понимаете, они молодые были, одному шестнадцать, другому семнадцать…или восемнадцать…я точно не знаю…

– И что? – Мария Ильинична вновь с подозрением прищурилась и искоса, насколько позволяло ее положение за сто-

лом, вновь заглянула Павлу сквозь его глаза прямо в душу. Здорово это у нее получалось!

– Расстреляли их… Они в бунте участвовали… А отец помер…, сгинул он… Сам-то не участвовал… Честное комсомольское! А братья вот…

– Так это давно ведь случилось? – Младший лейтенант вновь заволновалась.

– Так точно… Мне лет одиннадцать было. Они…дядьки-то, поздние сыновья… Последними у бабки с дедом родились…

– Вот те раз! А Герману Федоровичу говорил?

– Говорил, – Павел вздохнул и виновато опустил голову.

– И чего?

– А ничего! – он вдруг вскинул глаза, как будто даже чуть обиженные, – Это, говорит, и дело прошлое, и дядьки несмышлеными были…, и ты, дескать, за них не в ответе. Потом, говорит, там вообще много всякого сгоряча понатворили. Бывало, не тех постреляли, кого следует. Сейчас бы другое дело…

– Сейчас – да, – почему-то очень печально, посмотрев в сторону узенького зарешетчетого и давно не мытого оконца, сказала с тяжким вздохом девушка. Она вроде бы о чем-то своем подумала, ей одной известном, – Сейчас другое дело… За просто так никого не наказывают. Сейчас одних врагов только…

Она сначала опустила глаза, потом вскинула их, пригну-

лась к Павлу и горячо зашептала прямо в ухо:

– Вы об этом не пишите. Вроде, как не знаете. Приговора, должно быть, не было… Верно Герман Федорович сказал, сгоряча…

– Не было. Суда не было, – закивал Павел и тоже зашептал, – Пришли в дом, нашли чего-то вроде обреза или нагана, и увели. Многих собрали в деревне…, по большей части их одногодок и кто чуть постарше. Почти всех расстреляли. А некоторые убежали… Куприяновы, например. А тоже ведь не причем! Вот те крест! Честное комсомольское, не при чем! Батя говорил…пока живой был. Они, Куприяновы, из бедноты…, как и мы. Батя рассказывал, надоело, мол, всем, что за людей не считали… Ни раньше, ни после… Всё отбирали, подчистую… Это он так говорил…, я-то малец еще был. А дядьки все ж постарше, и уж больно горячие. Драчуны были…, первые на деревне.

– Вот и не пиши, – вдруг перешла на «ты» Мария Ильинична, – Дальше давай. Крестьяне мы, мол, и все, беднота. Колхозники, дескать, на земле работаем. Образование, напиши, семь классов. А служить пошел по собственной воле… Так ведь?

– Так точно! – Павел, не отрываясь, взволнованно смотрел в светлые глаза девушки, и по-прежнему отвечал шепотом. В нем происходило что-то странное, волнующее где-то глубоко внутри, не стыдное, но не такое, чтобы сказать о нем вслух, и она как будто отвечала в душе тем же, словно между

ними действительно возник какой-то тайный, очень интимный и очень странный сговор, – Все верно, товарищ младший лейтенант государственной безопасности! Мне отсрочку давали, а я попросился лично у помощника военкома, у товарища Павлюченко, у Константина Зиновьевича…он дружен с Германом Федоровичем…еще с Полтавы. Но вы не подумайте, я в Забайкалье случайно попал…, так вышло…

– Пишите, пишите, товарищ Тарасов. Всё как есть пишите – самолично явился на службу, дескать, по воле сердца… Комсомолец, из беднейших крестьян тамбовской губернии, то есть неимущий. В комбеде был раньше кто из ваших?

– Не был… Но мы как есть неимущие, это вы верно сказали, – Павел обратил внимание про себя, что Мария Ильинична вновь вернулась на «вы» и, смутившись, даже чуть отодвинулась в сторону.

Закончили автобиографию с помарками и кляксами, но зато с длинной, старательной подписью. Повозились с анкетой. Она показалась Павлу слишком уж строгой и даже холодной, будто чей-то невидимый пронизывающий взгляд исподлобья. Тут вот обманешь или просто что-то забудешь, и потом с тебя спросится со всей революционной суровостью. И ведь поделом! Пришел сюда, так кайся, коли есть в чем!

– Как придут документы из округа, мы вас вызовем специально… Предписание останется здесь, – Мария Ильинична говорила уже деловым, уверенным голосом, смотрела куда-то поверх головы Павла (должно быть, так и нужно бы-

ло по всем правилам!) и как будто перечисляла, чтобы не забыть, – фотографию сделаем, у нас имеется свое ателье, специальное. На документ, конечно. Пропуск то есть. А пока вам надо поехать в Лефортово, в казармы. Пока посидите еще тут, обождите, я вам выпишу наше предписание, чтобы на довольствие с завтрашнего дня поставили, и чтобы койку дали. Будете там в наряды ходить. Вам ведь еще полтора года на действительной?

– Так точно, год и пять месяцев.

– Верно…, – Мария Ильинична заглянула в его красноармейскую книжку, – Год и пять. А в «первый дом» не ходите. Мы туда сами бумагу отправим.

– А потом как, товарищ младший лейтенант государственной безопасности? Тут ведь граница далеко…, а я вот…и форма у меня…

– Ведомство у нас одно. Ваши документы, товарищ сержант пограничной службы, мы востребуем. Как положено! – она вдруг заговорила рублеными фразами, словно диктовала важное военное письмо, – Переведем вас непосредственно в центральные органы НКВД. А дальше видно будет. Может, и командируем куда.

Они расстались в этот день ненадолго. Павел скучал один в узенькой комнатушке, с отвращением вдыхал устоявшийся здесь запах пота, словно размазанный по несвежим стенами, и с волнением уже вспоминал, как близко была только что эта уютная (так теперь ему казалось) молодая женщина.

И что с того, что полновата, и что ноги тяжелые и слишком короткие, и грудки вроде бы маленькие, невидные, зато есть в ней что-то такое… Такое…, чего он объяснить не может. Волнует она его даже больше, чем раньше другие волновали. Может быть, от того, что чересчур долгим было воздержание? Ведь в последний раз (а этот последний раз был всего лишь третьим в его короткой жизни) он был близок с женщиной еще в Лыкино. Там это удавалось многим парням с самого раннего возраста. Мужиков почти не было и бабы, намного старшие их, подростков, были мягки и податливы. Старики закрывали на это глаза, жалея вековух, вздыхая им вслед. Да и род деревенский сходил на нет. Детей-то почти не было в деревне. Все уж взрослые, и их почитай уж нет никого. Великая радость, когда случалась свадьба. Из других деревень мужики не приходили, там свои интересы блюли. Могли и накостылять, если уговорят кого-нибудь. Даже один раз милиционер Егор Малютин приезжал из Куликово, наганом крутил перед носом Верки Куприяновой, которая одному женатому мужику оттуда замутила голову. А все потому, что у того баба никак родить не могла. И все равно вернули назад, по шее ему дали крепко тогда. Чуть не убили! Вот какие дела на Тамбовщине-то после той смуты случались.

А сколько ведь лет прошло! Обещали привезти молодых работников из города, а получалось наоборот – отсюда бежали в города, и даже не в Тамбов, потому что из Тамбова могли с милицией обратно вернуть. В основном скрывались в

западной Сибири, а кто-то и на Алтае. Этот край хвалили, о нем прямо легенды ходили на Тамбовщине. Целыми семьями убегали. Сначала один – кто постарше и поопытнее, а уж потом он выписывал остальных. Оформляли нужные бумаги, запросы. Вроде бы как командировка, а не переселение. Это поначалу позволялось, а уж потом, когда стало часто повторяться, и тут поставили заслон. Некоторые тайно уезжали в казахские степи или даже к киргизам в горы. Главное, чтобы никто не мог припомнить там о старых делах семьи, не попрекал участием кого-нибудь из них в восстании. Вот так и мелели многие деревни. Долго еще оставались в них одни старики и вдовые сироты.

…Вскоре Мария Ильинична вернулась с новым предписанием и сказала, чтобы посидел тут, в тепле, еще немного, а потом от них в Лефортово грузовик с каким-то грузом пойдет, так он и сопроводит груз, и коменданту в Лефортовских казармах доложит о себе, бумагу эту предъявит.

Невысокий худенький, строгий красноармеец в синей фуражке, низко сидевшей у него прямо на оттопыренных розовых ушах, принес кружку с чаем и серый, солдатский хлеб с большим куском масла на нем. Поставил на стол и, молча, вышел. Мария Ильинична удовлетворенно кивнула:

– Это вам заместо сухого пайка. А то так и ноги недолго протянуть.

Павлу было неудобно спросить об уборной. Он с нетерпением дождался, пока младший лейтенант, неожиданно

стрельнув глазами, ушла, и тут же кинулся вон из комнатенки к караульному, высокому сержанту лет двадцати семи, с тонкими, чуть заметными усиками под полным, ноздреватым носом. Тот криво усмехнулся, усики дрогнули, и он показал глазами в дальний угол караульного помещения.

– Там выйдешь во двор и тут же направо. Гляди, штаны не потеряй! – потом уже строже, насупившись, – Больше никуда не ходить. Не положено. Здесь дождешься грузовика. Доложу, как прибудет.

Тарасов стремглав бросился в ту дверь, а за ней в одинокое серое зданьице с единственной косой калиткой. И очень вовремя! Еле донес все до дыры в кафельном, нечистом полу.

Грузовая машина пришла через полчаса. Павел сел к водителю в кабину и сквозь непрекращающийся дождь и пронизывающий холодный, порывистый ветер, по мокрым, стылым улицам поехал с непонятным каким-то грузом в далекое, как ему показалось, Лефортово.

4. Большой человек

Младший лейтенант государственной безопасности Маша Кастальская оказала Павлу необыкновенную услугу. Она не ожидала этого от самой себя, потому что с самого начала точно усвоила первое правило ее кадровой службы: никогда, никому, ни за какие коврижки не оказывать даже самых малых услуг без специального распоряжения с самого верха. Даже указание или просьба ее *непосредственного* начальника должна быть проигнорирована. Да не просто проигнорирована, а немедленно доложена одному из помощников самого Ежова, тому самому, который отвечал за контроль над кадровым ведомством. Это вовсе не означало, что начальника или какого-нибудь ее коллегу накажут за это. Однако же непременно запомнят, внесут в личное дело, как еще одну его частную связь, и, если вдруг жизнь повернется как-то не так, как он рассчитывал, это вытащат на свет и вот тогда уже спросят строго. Возможно, протеже окажется достойным сотрудником и за него никто не станет нести ответственности. Но последнее время даже самые, на первый взгляд, достойные и верные, вдруг оказывались скрытыми врагами, вербующими вокруг себя сеть провокаторов и шпионов. Сразу начинают разбираться – как попал в органы государственной безопасности, в НКВД вообще, кто устроил, кто замолвил слово, зачем и почему. Тот, кто оказал поддержку, автома-

тически попадал в число подозреваемых во вредительской или даже диверсионной деятельности, а от подозрения до обвинения, а дальше до короткого суда и срочного приговора проходило не больше двух-трех суток, а то и часов. Всего этого было достаточно, чтобы каждый сотрудник кадрового аппарата сотню раз бы оглянулся, крепко подумал, детально проверил и как можно скорее доложил бы о новом человеке и о просьбе устроить его на службу.

Мария Ильинична, тем не менее, сама же нарушила то святое правило – приняла документы по личной рекомендации своего дальнего родственника полковника Германа Федоровича Тарасова. И никакого рапорта! Ни на чье имя. Никаким помощникам товарища Ежова. Потому что и Германа Федоровича искренне любила, и еще потому, что сразу, как увидела этого большого, сильного, искреннего тамбовского увальня, однофамильца своего родственника, ясно поняла, что именно такого мужчину ей всегда хотелось иметь рядом с собой. Она и сама не знала этого раньше, а вот как встретила, все сразу высветилось, будто вспомнился давний, забытый сон. В том своем сне она, наверное, была счастлива, беззаботна, опахнута горячими, медовыми ощущениями близости с мужчиной, да не просто с мужчиной, а именно – с этим. Может быть, это был и не сон вовсе, а какие-то волнующие воспоминания о чем-то очень важном, пережитым не ею самой, а кем-то другим, чьи гены она носила в своей интимной памяти. Ей уже приходилось чувствовать подоб-

ное – как будто что-то уже случалось с ней, что-то уже переживалось, но ухватиться за какую-нибудь верную деталь, за дату или определить точное место событий, она не могла. Это было похоже на мгновенную ласку перышком неведомой легкой птицы, давно улетевшей бог знает куда. Он как будто шагнул к ней оттуда – не то из ее сна, не то из чужой памяти. Неужели и об этом докладывать сухим рапортом помощнику Ежова? И о том, кто пришел к ней неведомо откуда?

Но вот он теперь стоит перед ней, руки по швам, ест глазами, краснеет, заикается от волнения. Наверное, тоже что-то чувствует, что-то пытается вспомнить… Сильный, шумно дышащий носом, от него за версту несет ядовитым мужским потом, а кулаки, как две тяжеленные гири, и шея мускулистая, и грудь широкая, как, должно быть, тамбовская степь. Случилось это, будто кто-то ударил со всей мощью: или убьет или, напротив, даст жизнь, другую, новую, радостную. А ее жизнь, скучная и пресная, пусть сама погибает под этим ударом! Лишь бы не отпустить его от себя, лишь бы не дать себя забыть!

Будь, что будет – решила Кастальская и приняла документы, да еще помогла ему скрыть то, что ни при каких обстоятельствах не могло бы допустить его в оперативные органы наркомата внутренних дел. Двое расстрелянных дядек, контрреволюционеров, смутьянов, хоть и мальчишками были! Отец какой-то сомнительный, деревня вся будто выжжена, а, значит, было за что! У нас ведь иначе не бывает. Коль

наказали – были виновны. ЧК, как известно, не ошибается…

А вот ведь шепнула ему – не пиши, а сама решила, что и проверять не станет. Павел пограничник, а это ведь тоже войска НКВД, там проверяли, как следует. Впрочем, она понимала, что и там закрыли глаза, потому что зависело это от Германа Федоровича. Маша знала его отношение к тем тамбовским событиям, и еще помнила, как он скрежетал зубами от ярости, когда вспоминал недавний голодомор на Украине.

Он был тогда прикомандирован к Полтавскому отделу. Там от голода еле таскали ноги даже сотрудники управления. У одного из них умерли от истощения родители в Елисаветграде, а второй и сам угодил в госпиталь, еле живым довезли до Москвы. Кожа да кости! Череп был обтянут так, что каждая жилочка под серой, тонкой кожей просвечивала на выпуклом лбу, на проваленных висках. Почему его доставили в Москву, неизвестно – то ли у него родственник тут работал очень высоко, то ли еще какой-то интерес в нем был. Такие, говорят, все были там – голодные, слабые, без сил к жизни.

Герман Федорович шепотом рассказывал, как они расстреляли ночью, без суда и следствия, агента уголовного розыска с женой и его брата чекиста из Кременчугского УНКВД, когда узнали, что те съели беспризорника, мальчишку лет девяти. От голода съели, от сумасшествия. Котлет накрутили, даже гостей позвали. Сказали, что из свинины. Нашли, мол, в лесу одичавшую хрюшку и вот, пожалуйста! Но кто-то из гостей, фельдшер, все понял и, притворившись пьяным,

дал дёру. Даже в смертельном голоде не мог себе такого позволить – чтобы людей есть. Заявлять в Кременчуге побоялся. Сел в поезд и приехал в Полтаву. За дело взялись немедленно. Выяснили, кто был в гостях, поговорили осторожно с каждым. Убедились в том, что ни один не догадался, чем угощались. Это их и спасло. Они до сих пор не знают, что в тот вечер стали каннибалами. А вот агента угро с женой, молоденькой художницей-оформительницей из драмтеатра, и оперативника из горотдела, родного брата того агента, арестовали, допросили, вывезли в лес и расстреляли. В делах же оставили запись о том, что все трое умерли от голода.

Со своими разбирались также быстро, как с чужими. Впрочем, Маша сама не могла до конца понять, по какому объективному признаку одни свои, а другие чужие, разве что, если буквально не жрали человечину. Ведь арестовывали, а затем убивали и тех, кто пытался открыто жаловаться на неспособность партийного и хозяйственного руководства сладить с тяжелейшим положением. Жаловались Сталину, а оттуда приходили циркуляры, заметавшие всех – и жалобщиков, и тех, на кого жаловались.

Но там все же был голод и мор, а вот уже с тридцать четвертого года, с убийства в Ленинграде Кирова, началось вообще что-то невообразимое.

На Машиных глазах в самом Управлении кадров НКВД развернулась настоящая тайная война. К ним приходили каждый день из следственной части и изымали дело за де-

лом, иногда с десяток сразу. Оставляли расписки, мол, такое-то дело изъято следователем таким-то для приобщения и так далее. А потом и дело того следователя какой-то другой следователь куда-то приобщал. Маша никак не могла понять – разве они у себя в кадрах плохо работали? Разве они прошляпили шпионов, диверсантов, вредителей и врагов? Ей становилось страшно. Потом арестовали младшего лейтенанта госбезопасности Мишу Копейкина, который ей очень нравился. Арестовали за то, что он, оказывается, лично прошляпил трех опасных врагов, трех чекистов. Отправил представление в наградной отдел, а они – враги и шпионы. Значит, и он, младший лейтенант Копейкин, с ними заодно. После его ареста, а дали ему семь лет, ей присвоили его звание. Должность освободилась, а при ней и звание.

Потом арестовали ее непосредственного начальника, старого уже человека. А за ним, с разницей в полгода, еще двоих взяли: латыша, из стрелков, и еще одного – обрусевшего немца из Казани, в прошлом правого эсера и боевика.

Все трое оказались врагами. Сказали, что они продавали иностранным разведкам данные на секретных сотрудников, а конечной целью своей имели – реставрацию царизма. Маша особенно переживала за того своего начальника, бывшего питерского рабочего. Это был мягкий и тихий человек, с нетерпением ожидавший пенсии. Он очень задорно смеялся в усы, смех у него шелестел, будто кто-то ногами разгребал сухие листья, а глазки за стеклами очков при этом делались

маленькими, как у ребенка. Он любил вспоминать, как познакомился со Сталиным, еще в дореволюционном подполье. Водил его по Питеру, скрывая от шпиков. А тот обижался – что я вам мальчишка какой-нибудь! Сами, мол, с усами! И вот оба состарились. Один в самом Кремле, а другой, … а другого вдруг разоблачили, как врага, и расстреляли. Оба старых товарища были с усами, то есть оба «сами с усами»! Впрочем, тогда очень многих взяли, и усатых, и безусых.

Вот она теперь и решила, что коли так запросто своих хватают ни за что, то почему бы не нарушить инструкцию, не взять на службу того, кто ей самой понравился. Все равно ведь всем одна дорога, виноват, не виноват! А тут, может быть, хоть немного своего счастья достанется, хоть ненадолго.

Еще она думала, что если бы второй муж ее матери Илья Петрович Кастальский, сельский доктор, из старорежимных, не умер бы от воспаления легких лет девять назад, то и его бы непременно за что-нибудь взяли. Потому что он лечил всех – для него врагов не было, были только больные. А в их уезд тогда многих ссылали. Значит, этих «многих» и лечил. Его бы точно арестовали.

Своего отца Маша не помнила. Он сильно пил, а однажды вдруг взял да повесился. Ни записочки, ни даже намека какого-либо не оставил. Вроде бы и пьяным в тот самый страшный для себя час не был. Мать через год вышла замуж за Кастальского, а тот удочерил маленькую Машу, дал ей свое

имя в отчество и, разумеется, фамилию. А так она была бы по отцу Матвеевной, а по фамилии Клуниной. Мария Матвеевна Клунина, дочь рабочего-металлиста, пьяницы и самоубийцы. Мама говорила, что она на него внешне очень похожа – он тоже был невысокий, круглолицый, кряжистый, низкозадый, с короткими ногами, крепкими, чуть вывернутыми наружу икрами. И по характеру такой же – чуть что, краснеет, глаза на мокром месте, полные губы дрожат. Но и сердиться, правда, умел. Орет благим матом, кулаком по столу гремит, топает ногами, брызжет слюной. Это, пожалуй, единственное, что Маше было несвойственно. Это ей от него не досталось. Тут она, скорее, в маму пошла – умела сдерживаться, голоса никогда не повышала. Только могла от обиды или раздражения долго сопеть и смотреть исподлобья. Отходила она с трудом, делая над собой нечеловеческие усилия. Очень стыдилась своей злопамятности, считая, что она как раз досталась ей от отца – только тот все выливал в ор и в мат, а она копила в себе. Маша замыкалась и подолгу размышляла сама с собой. Жалость к людям, которые ей нравились, становились следствием таких размышлений, и поэтому она хранила в себе это редкое чувство. Ведь оно, должно быть, единственное спасало ее от генов несдержанности отца. Вот ведь к чему они привели! Взял да накинул на шею петлю ни с того ни с сего. Рядом, наверное, никого не оказалось, ни ком бы он сорвал зло. Видно, и пил потому что, когда был трезвым, на весь мир скалил зубы.

Так что она всех жалела – и отца, так рано ушедшего и даже свою дочь после смерти потерявшего, и доктора Кастальского, который тоже очень вовремя умер, а то бы сидел или даже был бы расстрелян. И вот теперь пожалела этого увальня – Павла Тарасова. Стыдно было немного, что для себя пожалела. Но ведь все не без греха!

Она действительно часто думала о себе с раздражением, что личность она непонятная, какая-то даже двойная. Вроде бы, человек-заплата. Доктор Кастальский так называл людей, у которых в характере присутствовало все в большом количестве – и дурное, и светлое. Основа, мол, добротная, а со временем она протирается, рвется, и на дыру нашивается уродливая заплата, а таких заплат ведь все больше и больше будет с годами. Каждая из них обескураживает безвкусицей цвета и уродством формы. Потом заплат становится столько, что уже никто не может понять, какой была начальная материя.

Этого Маша больше всего боялась – чтобы она сама не исчезла за вновь приобретенными привычками, идущими от страха или даже просто от дурного опыта. Ей порой казалось, что этот опыт, как и страх, приходят из ее службы. Но она искренне пряталась за приказами, распоряжениями, в том числе, строго секретными, за чужой, очень важной, ответственностью за ее исполнительную душу, и постепенно эта боязнь отступила, скрылась за ее же посеревшей от кабинетной работы кожи, за поблекшими глазами. И вот теперь,

неожиданно, эта кожа дала трещинку, а из-под нее несмело показалась свежая, розоватая пленочка, и глаза вдруг ожили. Ее взволновала близость в той тесной комнатушке с Тарасовым, его незнакомые, волнующие запахи, его наивное деревенское смущение, ее собственный испуг. Это все насторожило и в то же время обрадовало, что не на все теперь наложат заплатки доктора Кастальского, останется что-нибудь розовое, свежее, девственное.

Маша ускорила оформление Тарасова, еле дождалась его дела из Забайкалья. Прочитала все, а одну бумажку, донос какого-то Тита Ручкина изорвала в мелкие куски. Вместо той бумажки подшила непонятную, путанную по смыслу справку с неразборчивой подписью, ею же придуманной – чтобы пронумеровать страницу под тем же числом, что и Ручкинский донос. Тит Ручкин писал детским почерком, что Тарасов скрывает свое родство с начштаба и что они дважды или трижды ездили на охоту к границе, одни, без свидетелей, а возвращались без трофеев. На что намекал мерзавец? Что они только прикрывались охотой, а на самом деле с кем-то тайно встречались на границе? С кем? С японцами, с самураями? Больше как будто не с кем.

Маша долго колебалась. Наконец, спросила шепотом об этом у Германа Федоровича. Специально для этого с ним встретилась. Тот сначала рассвирепел. Орал, что узнает, кто этот Ручкин и оторвет ему ножки. А потом стал смеяться. Да, говорит, ездили не два, не три, а целых четыре раза на

охоту, да только всё напрасно. Не охотники оба. Звери их стороной обходили. Хоть и тайга, вроде, а им не везло. Плюнули на это и сами рады, потому что и не знали, что со всем этим потом делать. Это его была идея, глупая – пойти поохотиться. Аж четыре раза! А Ручкин этот чего придумал? Шпионов нашел, негодяй!

Дело Павла Ивановича Тарасова было окончательно пронумеровано, подшито и скреплено печатями. Теперь стоял вопрос о его дальнейшей службе, то есть о новом назначении.

Тут опять Герман Федорович помог. Он нашел для Павла хорошую службу. У одного большого и, вроде бы, славного человека, хоть и истерика. Маша подсунула дело, куда следует, и все склеилось, как надо.

Через три с половиной месяца после прибытия в Москву сержант Павел Тарасов был назначен в личную охрану самого маршала Советского Союза Семена Буденного. Когда Павлу об этом сказала младший лейтенант Кастальская, краснея от удовольствия сообщить о столь радостном известии, посвоему высвечивающим его будущее, он не поверил своим ушам. Самого Буденного! Живую легенду гражданской войны охранять! Лихого командира Первой Конной! Командующего Московским военных округом, самого важного, самого главного, самого мощного! Можно перечислять и перечислять до бесконечности все прелести такой солдатской службы, ощущать сердцем и умом весь ее радостный пафос,

грезить об ожидаемом счастье, при этом зная, что оно уже наступило, уже началось!

У маршала еще до революции такой иконостас на груди был, что аж дух захватывало – Полный Георгиевский кавалер, всех четырех степеней, «полный бант», как говорится, да еще четыре Георгиевские медали, да других орденов и всяких почетных знаков уже советских столько, сколько у Павла волос на голове! Он и лучший наездник войска Донского, бравый казак с тараканьими усищами, с золоченой шашкой с тяжелыми кистями у эфеса, а голенища сапог блестят так, как все моря и океаны мира в самый солнечный день блестеть не могут! А то что в Приморском драгунском полку служил, считай, в Забайкалье! На германском фронте воевал, потом на австрийском! Старшим унтер-офицером был еще при царях, целый воз наградного оружия имел после революции! А в тридцать пятом ему в числе других пятерых Маршала Советского Союза дали! На всю страну, на всю громаднейшую армию только пять полководцев с наивысшим званием! И среди них – он! Вот какой у Павла Тарасова теперь будет командир! Командир из командиров! Усища-то какие!

И еще кое-что тут же вспомнилось Павлу, о чем он вслух бы никогда не сказал. Летом этого же, 37-го года, в июне, когда Павел еще был в своем забайкальском пограничном округе, Семен Михайлович проголосовал за расстрел другого маршала из малого числа тех пятерых, первых – Михаи-

ла Тухачевского. А это для Павла было делом очень приметным. Ведь в двадцать первом именно Тухачевский командовал войсками Тамбовского военного округа и именно по его приказу выжгли всю Тамбовщину, а дядек расстреляли, да еще отца загнали в самую трясину жизни, откуда он так и не вылез. Первый раз слово «чистка», от которого холодела кровь у всех, кто потом, позже, этой же чистке и был подвержен, прозвучало из известного приказа Тухачевского, развешенного везде, где возможно. А 12 июня 1937 года, благодаря исключительно «доброй воле Семена Михайловича», как был свято убежден Павел и в эти и во все последующие годы, тот «вурдалак, холодный убийца, карьерист, предатель, шпион» был расстрелян. Герман Федорович еще перед отъездом в Москву, на одной из неудачных охот, рассказывал, что маршал Буденный якобы сказал на пленуме в феврале или в марте о предании суду и расстреле Тухачевского и еще нескольких: «Безусловно, за! Нужно этих мерзавцев казнить!» Там еще какой-то Рудзутак был …и Бухарин тоже. Но, главное, полагал Павел, Тухачевский! И не важно, что тот на всех фронтах побывал, что белополяков бил, что врагов революции давил, как самую «ничтожную вошь», что ученым, вроде бы, даже был в военной науке. Однако за дядек, за отца, за нищее Лыкино, где мужики не родятся, потому что нет их отцов и некому любить девок, за это за всё Буденный отомстил. Хотел он того или нет, знал ли о Лыкино или нет, не важно! Ведь око за око! Вот каков он – Ко-

мандарм Первой Конной Армии!

Да за такого Героя, да за такую усатую громаду он, тамбовский недотепа, кого угодно живым в землю втопчет, кому угодно башку напрочь снесет! Да он…! Да он…! Легенда же! Легенда! Живая легенда!!! И пусть живет сто лет во здравии!

На глазах у Павла вскипели слезы. Вот это да! Вот это повезло! Ай да Мария Ильинична! Ай да Герман Федорович! По гроб жизни будет верен им и безмерно благодарен! Они ему как мать с отцом, как брат с сестрой, как…, как…да что тут говорить!

Маша ласково и чуть покровительственно улыбалась, наблюдая как все эти безумной радости мысли (а они именно что наблюдались со стороны очень и очень ясно!) почище, чем Первая Конная Армия в шальной атаке в пух и прах разбивала врагов, смели в его горячей голове ощущение реальности. Он ведь и не знал, и не хотел знать, что были в тех конных атаках не только победы, но и отступления и бегство от врага. Но в его сознании такого не могло быть – только победа, только великая верность командиру и полковому знамени, только вера в непогрешимость своих и убежденность в коварстве чужих.

Думающий солдат – слаб, уязвим, считала великая наука побеждать. Думать должен только командир, да и то столько, сколько положено по чину. Павлу неведома была эта стратегия, но вся его военная служба, предшествовавшая столь

неожиданному назначению, воспитала в нем особое солдатское чувство, подтверждавшее именно эту военную мысль и ведшее его в жизни, как по карте. Ему было невдомек, что очень скоро душу его станут разрывать на части такие противоречия, такие взаимоисключающие мысли, что всё ясное и бесспорное сейчас станет зыбким и двусмысленным позже. Пожалуй, вся его оставшаяся жизнь, где бы она ни протекала, станет выжженным полем битвы двух непримиримых врагов: суровой святостью приказа и горьких сомнений в его справедливости.

Но сейчас было назначение на боевой пост, которому, как Павел был убежден, не могло быть равного по значению и ответственности.

На самом же деле это место в строгом ранге охраны членов правительства занимало низшую строчку, и в большей степени было почетным, нежели действительно важным. Покуситься на Семена Михайловича Буденного, по мнению людей, мог только сумасшедший, потому что ему не было бы прощения ни в этой жизни, ни в последующей. Это как разрушить памятник, который дорог каждому. В самом же правительстве и в партийной верхушке какие-либо страхи за жизнь Буденного вызывали лишь скрытые кривые усмешки, потому что в его боевую мощь никто уже давно не верил (да и в необходимость этого тоже!) и даже считал Буденного чем-то вроде музейного экспоната, не хранящего в себе ни государственных, ни военных тайн. Эдакое старое потре-

панное знамя, нужное теперь лишь для идейного воспитания неустойчивых юных душ, да и то лучше показывать лишь его уцелевший уголок, а не все полотнище. В то же время он, олицетворявший целую эпоху, в свою очередь придуманную, как сказку или былину, играл роль стального стержня, на который опытные и прагматичные державные мужи надевали, наподобие колец на детскую игрушку-пирамиду, куда более важные для государственной жизни идеи.

Семен Михайлович полагал, правда, несколько иначе. С ранней юности он был человеком до крайности амбициозным, знающим свою силу и свою власть над судьбой. А вот знал ли он себе истинную цену и соотносил ли ее со своей природной силой, неизвестно. Хотя это талант совсем иного свойства – знать, сколько стоишь и сколько за себя запрашивать. Возможно, он им тоже обладал. Его авторитет в послереволюционные годы, а точнее, по окончанию гражданской войны, мог соперничать лишь с авторитетом маршала Климента Ворошилова, да и то весьма сомнительно для Ворошилова, потому что каждый знал, какую роль сыграла в свое время Первая Конная Армия и кому за это надо возносить воинские почести. Вне всякой конкуренции по части авторитетности был, разумеется, лишь Сталин. Он же внимательно наблюдал за всем и время от времени подправлял ход событий в нужную сторону.

Буденный был убежден, что его смерти хотят лишь враги Советской власти. Потому что он – боевое знамя Армии, он

ее живая легенда, и неважно, что учеба в академии имени Фрунзе давалась ему с великим трудом и что многие усмехались в сторону, прятали глаза, когда он высказывался за то, что от лошади в будущей войне больше толка, чем от танков, от аэропланов и даже от «каких-то непонятных ракет на каком-то непонятном жидком топливе», о чем неустанно вещал этот выскочка, этот аристократ Тухачевский.

Да как вообще можно сравнивать лихую кавалерийскую атаку, огненную лавину, гремящую лошадиными копытами, пронзительно орущую сотнями перекошенных глоток, ослепительный блеск клинков и наконечников пик с глупой дымной чуркой, летящей один дьявол знает куда и зачем! Где там боевое знамя у этих железных чурок, у этих серых ракет? Где их командир? Где горячая ненависть в глазах бойцов? Где страх в глазах врагов? Что же тут сравнивать!

Он один остался из тех, кто знал истинную цену бою и кто мог одним движением своего клинка отправить на смерть сотни, тысячи разгоряченных бойцов и коней.

К своей охране он относился серьезно, и любил ее, как отец может любить сына, готового за него, за главу рода, кому угодно отмахнуть шашкой голову с плеч. Ничего что охране шашки не полагались, на то она и охрана, а не кавалерия и даже не артиллерия, зато у них были наганы, маузеры, автоматические пистолеты, а у рядовых и сержантов, что стояли на часах, проверенные, мощные трехлинейки с острыми, как те же шашки, штыками. Кого-то из охраны он

подбирал себе сам, лично. Нравился ему какой-нибудь голубоглазый или кареглазый чекист, крепкий, немногословный, уважительный к нему, и тот сразу переводился к нему в штаб. Набралось их немного, но все, что были, как будто в кавалерию брались – кряжистые, не тяжелые, ловкие. Чтобы не сердить недругов, он переводил их на службу в РККА в какой-нибудь хозяйственный или организационный отдел и там оставлял при себе. Буденный не любил «двойного подчинения» – то есть ему и НКВД одновременно, потому что считал, что командир должен быть один впереди всех и его приказ всегда и первый, и конечный. Но иной раз приходилось терпеть и требования НКВД. Однако в таких случаях он подолгу разговаривал с прикомандированным сотрудником и добивался от него полного признания того, что именно он, маршал Буденный, самая важная птица в их клину, и никакие другие вожаки невозможны. Только убедившись в том, что его понимают, брал нового сотрудника. И все же поручал наблюдать за ним со стороны месяц или даже два. Бывало, что и провоцировал, интриговал, а потом делал выводы. Одной из излюбленных провокаций было осторожное предложение в конце концов перейти в РККА.

Павла, сержанта действительной службы войск НКВД, в Красную Армию переводить не стали (это и в дальнейшем, до 43-го года, ему не предлагалось), а зачислили за специальным боевым подразделением при одном из самых важных и самых секретных отделов НКВД. Он был откоманди-

рован в распоряжение Первого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Потом, уже в 38-м, этот отдел вошел в Первое Управление, а позже опять был выделен из общего состава. Глаз да глаз был за этими людьми, чтобы они сами не спускали глаз с тех, кто был дороже всего в их большой и мощной державе.

За эти три с половиной месяца прозябания в лефортовских казармах Павел вымыл такое количество полов в нарядах, что ими можно было застелить дорогу от Москвы до Хабаровска. А сколько стен побелил, а сколько часов провел в карауле, а сколько терпения и тихой, бессловесной мечты выносил в своем сердце!

С Марией Ильиничной виделись за это время всего лишь два раза, а Германа Федоровича вообще ни разу не видел, хоть и слышал о нем от той же Кастальской.

На одну из двух встреч Маша пришла в штатском платье. Она была одета в длинную синюю юбку, в шерстяную серую кофточку, а под той – белая блузка. Сверху было теплое черное пальто из какой-то грубой материи. На голове маленькая шапочка из драпа. Маша была не накрашена, не напудрена, разве что губы как-то странно блестели, да и то будто лишь смазанные жирной мазью. Она зашла в воскресенье, на второй месяц, как будто знала, что Павел получил свое первое увольнение. Проходила, вроде бы, случайно мимо… шла от подруги, а тут из ворот казармы неожиданно выходит Павел Иванович, в новой, длиннополой шинели. Ему никак на

его рост подходящую не могли подобрать и потому досталась лучшая из всех, самая теплая, но и самая элегантная, даже с широкими манжетами. Ее для особых случаев держали на складе. Похоже, кто-то догадался, что он и есть тот самый «особый случай».

Павел увидел Машу, но не сразу узнал ее. До того ведь была всего лишь одна встреча, да и та в темной комнате караулки, и к тому же, тогда Маша сидела слишком близко к нему, усталая, чем-то взволнованная. Совсем другое дело, когда женщина видна издалека – и фигура узнается, и манера носить себя, и держать голову, и смотреть.

Маша как будто случайно натолкнулась на высокого ладного военного и очень по-девичьи изумленно ойкнула. Павел растерянно вскинул глаза, будто вспоминая ее черты и проверяя себя, не ошибся ли, и вдруг широко заулыбался и даже первым протянул ей свою большую теплую ладонь:

– Ой! Здравствуйте, Мария Ильинична! А я и не признал вас в штатском платье! Вы какая-то…ну, прямо…

– Какая? – Маша покраснела и чуть надменно вскинула бесцветные брови, вся будто напряглась, точно тетива.

– Другая какая-то… Не такая…, – Павел засмущался, что первым сунул ей руку для приветствия, но оправдывал себя тем, что принял ее за нее же, но в то же время и не за нее, то есть не за младшего лейтенанта госбезопасности, а просто за привлекательную, невысокую женщину с пышными, но и аккуратными, формами. Он это вслух, разумеется, не

сказал, но на лице его была ясно написана смена всех этих настроений.

Маша хоть и не имела опыта общения с мужчинами, все же поняла все правильно, а смущение Павла ей даже понравилось.

– А я тут иду себе…туда вот…от подруги…обратно, стало быть, … домой, и тут вы. Я даже не заметила сперва. Ну, военный и военный! Налетела… Извините, Павел Иванович!

– Да это вы меня извините, товарищ младший лейтенант госбезопасности…

– Не надо так! – Маша вновь вспыхнула и стала быстро оглядываться, – Когда я в штатском и вне службы, звание и должность упоминать нельзя. Разве вам не говорили этого?

– Никак нет! …То есть не говорили. Я тут все больше в нарядах…по кухне, по казарме… Полы мою, стену вот побелил в командирской.

– Потерпите немного еще. Скоро ваш вопрос решится.

– Да я ничего! Я не в претензиях! Служу себе. Я ж на действительной. Мне еще как медному чайнику!

Маша рассмеялась совсем весело и беззаботно, как рассмеялась бы любая московская девица, услышав такой необычный некалендарный срок службы. Павлу сразу стало легко. Он захотел еще что-то веселое сказать, но на ум уже ничего не шло.

– А вы куда сейчас? – спросила Маша, подумав, что любое приглашение даже на обычную прогулку, сначала исходит от

женщины, намеком, как будто только для поддержания разговора, а уж потом открыто произносится мужчиной, если он достаточно чуток и сообразителен.

– Да вот не знаю… Впервые дали увольнительную. Но я Москвы еще не видел, можно сказать. Когда прибыл, погода была дождливая, я без шинели, с вещмешком… Ничего не понял! А сейчас гляжу, солнышко, хоть и морозно… А все же! Думаю, пройтись туда-сюда. Недалеко чтобы, а то заблужусь.

Он широко, искренне улыбнулся и смешно потер нос ладошкой.

– Ну, тогда…, коли встретились…пройдемся вместе. Я вам дорогу покажу к Садовому кольцу, а оттуда даже до Кремля рукой подать. Я ведь у Красной площади живу. Вы знали это? Разве, я не говорила? С мамой. Она болеет, к сожалению…, никуда не выходит. Это после смерти отчима… Мы в Ветошном переулке…на бывших подворьях живем. Проводите?

Он не знал, что это за проезд такой, но очень обрадовался, что теперь не один, что встретил Марию Ильиничну, и торопливо подумал, что она, конечно же, здесь совершенно случайно. Не к нему же она приехала! Вот и сама говорит, у подруги была. Все же она очень даже ничего! Хоть и маленькая, и ножки полненькие, и мордашка слишком уж кругленькая… А женщина ведь она славная, да еще москвичка. …Помогает ему!

– Да я вас хоть на край света! – широко улыбнулся Павел и зачем-то потер руки.

– Ну, на край света вовсе не обязательно…пока. Это мы успеем! – Маша опять рассмеялась, – А вот до Ветошного, пожалуйста. На это я согласна. Только вы меня так официально не величайте. Вне службы я для вас просто Маша, а вы для меня Павел. Хорошо?

– Слушаюсь! …то есть хорошо…, Маша.

И они пошли по Москве. Светило холодное солнце, день был ясный, как будто к близкому морозу. Было 31 октября 1937 года, последнее воскресенье месяца. Радостно было тому и другому. Москва, ежась, омывалась холодными уже лучами осеннего солнца. Звенели трамваи, редкие, особенно в воскресный день; автомобили коротко гудели неторопливым пешеходам, шуршали шинами, источали сизый, пахучий дымок и бойко проносились мимо.

Богатый был когда-то город… Церкви, улочки-переулочки, именьица, дворцы, монастыри, изящные дома с лепниной… А теперь, будто с него кожу содрали, с живого. Жир весь давно стек, кровь свернулась, только чуточку еще постреливал пульс в синих жилках улиц и переулков. А поверху на оголенное мясо надели серую, грубую броню. Заковали, словом, город. Под той бронёй и текла кровушка, помогала древнему организму, разносила, как могла, по его окраинам необходимые для жизни питательные вещества. Думал ли именно так Павел или нет, глядя на город со стороны,

но было в нем, в приезжем человеке, какое-то чувство жалости и брезгливости одновременно. Это как шарахаешься от немытого тела бывшей пышной красотки, а ныне неприятной старухи со шкурой, словно у рептилии, похожей на ту самую грубую серую броню. Павлу не с чем было сравнивать, он мало видел в своей жизни, но, похоже, чувство такое, вполне естественное, в нем все же жило.

– А что вы на ноябрьские делаете, Павел? – Маша снизу вверх посмотрела на Тарасова, шагая с ним рядом и стараясь не отставать, хотя он явно сдерживал шаг и даже порой почти топтался на месте.

– В наряде, должно быть. Я тут человек новый, стало быть, наряд будет по кухне. Я, конечно, старшим заступаю, сержант все же…, но и сам поработать не отказываюсь. А то чего скучать? Ведь верно?

– Верно, – почему-то с грустью покачала головой Маша, – А то я думала, у вас увольнительная…, обычно отпускают после обеда и до самого вечера. Тогда бы вы к нам с мамой зашли… Ну…, ничего! Еще успеется. Вам ведь долго здесь служить…

Она вдруг замолчала, словно, боялась выдать не то служебную тайну, не то нарушить правило сюрприза. Павел почувствовал это и взволнованно выдохнул. Ему очень хотелось знать о своей ближайшей судьбе. Но если судить по затаенной радости в голосе Маши, эта судьба не должна быть печальной.

Так, шагая рядом, почти касаясь друг друга, они дошли до площади Дзержинского, бывшей Лубянки, и стали спускаться к Никольской башне по длинной улице, когда-то названной в ее честь, а два года назад переименованной в улицу «имени 25-летия октября», будто этой Никольской башни, видной до сих пор в перспективе улицы, не стало. Потом Маша остановилась около старых верхних торговых рядов, называемых с 21-го года ГУМом, обедневших, потерявших былой роскошный вид, и показала рукой куда-то влево:

– Вот тут Ветошный. Мы здесь с мамой живем. А там… в ГУМе типография Совнаркома. И конторы разные. Есть и магазины… Но этих скоро всех выгонят. Нечего Москву засорять! Это раньше, при купцах и при попах, так было. А мы вот на старом подворье устроились. Там из келий квартирки понаделали. У нас две комнаты и чулан, а еще маленькая кухонька, своя, не как у других! На втором этаже живем… Лесенка прогнила, но обещали починить.

Павел смущенно кивнул. Он не знал, как поступать дальше. Не напрашиваться же к младшему лейтенанту государственной безопасности Маше домой. Да и, вроде, она сказала, мама болеет. Они расстались, пожав друг другу руки – он взял ее холодную ладошку осторожно, точно боялся помять. Получилось неожиданно нежно, оба вновь покраснели и отвернулись.

– Найдете дорогу назад?

– А как же! Я ведь пограничник! Знаете, как по тайге хо-

дить! Ого-го-го!

– То тайга, там свои законы. А тут город…Москва…столица.

– Понятное дело. Да вы не беспокойтесь,…Маша…, я дорогу помню. Сейчас выгляну из переулка на Красную площадь, посмотрю маленько, издалека и ать-два в часть, в Лефортово.

Это было первое их свидание. Как ни странно, Павел в этот день почувствовал себя москвичом. Ему показалось, что он теперь знает столицу во всех ее видах, почти во всех погодах и в главных направлениях. Он никогда не слышал, а если бы слышал, то и не понял бы, того, что «все дороги ведут в Рим». Однако почему-то он подумал, когда возвращался взволнованный в Лефортово, что все дороги ведут в Кремль. И вот этому открытию им придавался почти такой же сакраментальный смысл, как тому, о котором он никогда не слышал.

«Действительно, – рассуждал, шевеля губами, высокий молодой ладный военный, энергично шагая по бывшей Мясницкой, а с того же времени, как была переименована Никольская, то есть с 35-го года, по улице Кирова, – все дороги приводят к Кремлю. Вот как ни иди! И не только когда шагаешь в ту сторону, а вообще… Все дела там, все главные люди там, и, самое важное – великий Сталин! Будешь вот так идти, допустим, спиной к Кремлю, пройдешь целый свет и с другой стороны придешь сюда же. Год будешь шагать, два,

три, но все равно в конце пути увидишь эти башни, стены и товарища Сталина у окошка, с трубкой…»

Тарасов улыбнулся своим мыслям и на него с опаской посмотрела молодая женщина с белой детской коляской, и даже как будто шарахнулась в сторону. Павел велел себе собраться и всегда помнить, что на нем теперь даже не пограничная форма, а мундир военнослужащего НКВД, ладная, будто кавалерийская, шинель, каких вообще почти ни у кого в лефортовском полку нет, и фуражка не зеленая, а синяя. Это очень ответственно! Нечего шептать невесть что и улыбаться как деревенский дурачок!

Ноябрьские праздники Павел Тарасов действительно, как и ожидал, провел в наряде. Он впервые был назначен старшим в караул лефортовской части. Очень этим гордился, даже уши от удовольствия краснели. Ему выдали револьвер в кобуре на время дежурства. Он долго чистил ваксой, которую тут берегли для командирского состава, сапоги. Ему выдали баночку на складе, при этом пожилой сержант-сверхсрочник, который заведовал всей этой сказочной сокровищницей, хмурился и тяжело вздыхал, точно от сердца отрывал ту ваксу. Револьвер выдавали в оружейке в дежурной части с куда меньшой строгостью. Поэтому Павел чистил сапоги тщательно, но и экономно. Потом сам принес хозяйственнику плотно закрытую и почти не убывшую баночку, и тот с удовольствием хмыкнул.

– Ну, будь здоров, Тарасов, – сказал сержант, словно был,

по крайней мере, полковым фельдшером, а не важным материально-ответственным лицом, – Заходи, если чего.

Павел покраснел от удовольствия и уважительно козырнул. Пожилой человек поощрительно закивал.

К Павлу тут с самого начала относились с вниманием – сначала с настороженностью, а потом, очень скоро, с искренней симпатией. К нему и тут прицепилось прозвище «Тихоня». Необидное, а, наоборот, произносимое с таким же трогательным чувством, как, например, если назвать тихоней мощного слона. Ведь добрый же зверь, и ласковым бывает, и веселым (многие его, слона этого, в цирке на Цветном бульваре не раз видели), а, говорят, обидишь, только держись. Головы не сносить! Его даже львы боятся. А в Индии, где слоны соседствуют с тиграми, самыми безжалостными и сильными хищниками, так, кроме как на них, на слонов, надеяться не на кого. Единственная защита для человека в джунглях. Вот такой «Тихоня»…

А вскоре после ноябрьских, месяца через полтора или даже чуть меньше младший лейтенант госбезопасности Кастальская вызвала к себе через дежурного по полку сержанта Павла Тарасова и объявила радостную для него весть, что он назначен в охрану к самому маршалу Буденному.

Представлять нового сотрудника, находящегося на действительной службе, повез невысокий, молчаливый лейтенант НКВД, фамилию которого и имя Павел от волнения не запомнил. Прежде чем ехать в штаб Московского военно-

го округа, что был на углу Комиссариатского переулка и Садовнической улицы, лейтенант критически осмотрел ладную фигуру сержанта и поманил его за собой внутрь управления кадров НКВД. Он провел Павла по каким-то коротким коридорам и вывел на задний двор.

– Вон там, в каптерке, найдете сержанта Кремнева…, скажите, я велел…пусть почистит немного форму, шинель, фуражечку на армейскую поменяет…, сапожки не мешало бы лакернуть слегка… Пусть ремень новый выдаст. Дорогу к КПП найдете? Вот также, через коридор.

Павел торопливо кивнул и даже вытянулся, хотел козырнуть. Но лейтенант устало отмахнулся и, буркнув, что через двадцать минут ждет его в машине перед выездом, исчез в том же коридоре.

Сержант Кремнев оказался молодым человеком с еще более придирчивым взглядом, чем безымянный лейтенант. Он был худой и высокий, с черным, мелкого беса, чубом и выстриженным почти под ноль затылком. Голова смешно торчала кверху огуречным острием.

– Говоришь, к самому маршалу, к Семен Михайловичу, на представление повезут? Ну, тут, брат, надо по-особому. Дайка сюда фуражечку-то! Новую я тебе выдам. Вот эту возьми, командирскую…с бордовым кантом. Не любит маршал синие-то! Та-а-к! Ремешок свой давай. Вон тот возьми…, да не этот, на нижней полке. Т-а-а-к! Сапожки ничего еще, ладные! Вакса у входа в каптерку и щетка там…, бархотку не

забудь, чтобы блестели как у кота яйца! Э! Э! Где драить-то собрался! За порог давай! Навоняешь тут!

Павел выкатился во двор, оглянулся, увидел приступочек и тут же, разбросав полы длинной шинели, выставил ногу в сапоге. На этот раз он ваксы не жалел, и щеткой, и бархоткой тер так, что заболели руки. Потом аккуратно, тыльной стороной бархотки, обтер почерневшие на кончиках и фалангах пальцы, даже сплюнул на них. Он вернулся к Кремневу распаренный, как будто побывал в бане. Пот от волнения скатывался у него на лоб и виски из-под короткого козырька новой фуражки с армейской звездой впереди.

– Та-а-а-к! – протянул сержант, – вот теперь я понимаю! Боец! Кругом!

Павел развернулся и замер.

– Кругом! – опять скомандовал сержант и так пристально осмотрел фигуру Тарасова, что тот застеснялся, – Ага! Вот теперь порядок. Ты из каковских будешь?

– Виноват…из тамбовских…

– А чего виноват? Из каких есть – из таких есть. Семья-то большая?

– Мать и сестры.

– Такие же, небось, как ты, здоровые?

– Ага! Кроме младшей. Это мы в отца, а мать у нас мелкая…

– А шинелька у тебя, брат, неуставная. Но эта как раз сойдет, на кавалерийскую похожа. Семен Михайлович это лю-

бит… Кавалерия, сам понимаешь… Если бы ты конем был, а не человеком, так он бы тебя в задницу даже поцеловал!

Кремнев громко расхохотался собственной шутке. Павел сдержанно улыбнулся.

Лейтенант удовлетворенно причмокнул губами и показал на заднее сидение черной «Эмки». Водителем был пожилой мужчина в полувоенной форме, седой, с густыми короткими волосами и двумя заметными макушками.

– Это правильно, что фуражечку поменяли, – авторитетно сказал водитель и покосился на лейтенанта.

Тот кивнул и криво ухмыльнулся. Павел осторожно заглянул к ним в лица. Для этого даже чуть пригнулся вперед.

Шофер заметил и опять покосился на лейтенанта. На этот раз оба рассмеялись в голос.

– Да ты не тушуйся! – как будто пропел шофер, легко управляясь с резкими поворотами и разворотами то по мостам, то под мостами, то на самих мостах. Машина кружилась как на карусели, Павла даже замутило слегка.

– Когда войдешь, Тарасов, представься как можно более лихо! Ну, знаешь, по-кавалерийски, притопни еще, ногу приставь так, чтобы каблуком грохнуть! И козырни, будто у тебя нагайка на кисти висит. Понял? – наставлял лейтенант, – Семен Михайлович это любит. Звание свое назови, фамилию, потом непременно имя-отчество. Это для маршала обязательно. Такой у него порядок. Казак же! У них так было, говорят. Звание, фамилия, имя, отчество. Чтоб все

сразу ясно: кто ты, откуда…, ну, сам понимаешь. К званию не прибавляй, что в НКВД служишь. Можешь сказать, если спросит, дескать, забайкальский округ, да скажи, что пограничный, а то запутаешь… Проверять станет, а ты не в военном округе, а в нашем… Про НКВД, однако, ни-ни! Он и сам все понимает… А главное, слушай его. Уши растопырь, глазами ешь.

Павел уже был напуган так, что стал даже жалеть о назначении. Оставался бы лучше в Забайкалье, а то ведь понесло следом за Германом Федоровичем в Москву! Тому хорошо! Сидит себе в академиях, науку учит, отдыхает…, а тут даже про НКВД нельзя! Почему нельзя-то? Зачем фуражку поменяли? Все остальное-то осталось! Не по форме же!

Тарасов не знал, что в начале лета за Буденным пришли как раз в таких фуражках. Он выхватил шашку и прорычал: «Ну, черти! Кто первый!» Это было дома у него, он даже в наусниках выскочил к непрошенным гостям, а на даче, за городом, история якобы повторилась, только маршал выкатил в окно «максим» и дал прицельную очередь. Попал, конечно. Стрелял он славно, с тачанок еще в Гражданскую. И любил он это громкое и очень приятное дело всей своей мятежной душой! Рассказывают, что позвонил самому Хозяину и заорал: «Коба, контрреволюция! Живым не дамся!». И еще говорят, что кто-то пожаловался Сталину на грубость этого неотесанного казака. А тот ответил со смехом: «Молодец, Семен! Так вас и надо!» Отстали от маршала, потому

что Сталин, как будто, прибавил: «Этот дуралей не опасен!»

Так ли все это было или нет, неизвестно. Возможно, это выдумки всё, потому что такие же слухи ходили еще об одном не очень известном комдиве, слушателе академии Генштаба. Тот тоже, вроде бы, из пулемета обстрелял чекистов, а те два часа пролежали в крапиве у него на служебной даче, не смея поднять головы. Обе стороны кое-как добились мира и надолго разошлись. Потом его все равно взяли, уже после войны. И расстреляли. Такое не забывается, разумеется. Обидно же! Приходишь за человеком, а он стреляет. Ведь первым должен по всем правилам ты стрелять, а не он.

Однако такая легенда ходила и о маршале Буденном. Она была также устойчивая, как и название головного убора – «буденовка». То есть, кто придумал, кто сшил, неизвестно, а вот на чьи головы ее надели, и кто командовал этими лихими головами, знали все на собственной шкуре.

Правда, в армии знали, что так называемые буденовки были сшиты еще накануне Первой мировой для лейб-гвардейских полков Его Величества, вместе с ними шили и длиннополые шинели с особыми, фигурными петлями и с высокими, остроконечными манжетами, с небольшими воротниками, зато с широкими отлогами на груди. Но роскошные шинели и остроконечные мягкие шапки, по форме напоминавшие шлем, с узкими матерчатыми козырьками и с застегивающимися на две пуговицы либо на макушке, либо на шее, ушками, по какой-то причине не были введены. То ли их ма-

ло было, то ли посчитали не ко времени переодевать армию. Однако склады эти в конце концов достались в восемнадцатом году Буденному. Очень ему пришлась по душе эта удивительная военная мода, не имевшая ничего общего с тем, что носилось до этого. На шлем нашили звезды и с тех пор эти головные уборы стали называть буденовками.

Такая же история была и с грубыми кожаными куртками, которые сначала носили командиры в кавалерийских частях, а потом разобрали чекисты. Куртки эти еще до войны шились для летного состава русской армии, а также для техников, инженеров и некоторых офицеров в бронепоездах, в артиллерии и в колесных броневых частях.

Тарасову все это когда-то, еще на первой неудачной охоте, рассказывал Герман Федорович.

– Нет ничего нового, – усмехался он, – все взято из прошлого и заново перешито. Идеи, правда, новые…, да и то лишь в той их части, которая касается революции. Да и то, скажу тебе по секрету, у французов это еще в прошлом столетии все было и даже в позапрошлом… Я не об одежде…, я об идеях. У нас они заново обдуманы, перекроены по-своему и вот ведь сидят как новенькие! Идеи опять же… Да и песни те же – Интернационал, марсельеза… Слова переписали, своего добавили и вот ведь…поются! Да еще как поются! Флаг тоже… Ничего не ново под луной, Паша!

Павел тогда так и не понял, посмеивается ли над всем этим Герман Федорович или просто рассуждает вслух. Он

ведь тогда был хоть и старше Павла, но тоже еще не старый, не умудренный годами человек. Было похоже, что он переосмысливает чьи-то чужие слова. Павел тогда подумал, что Герман Федорович нередко встречался с одним очень пожилым человеком, когда-то бывшим начальником штаба военного округа, кажется, с Крыловым. А этот старик Крылов якобы до этого служил еще при царе и даже преподавал в какой-то академии в Петербурге историю военных походов или что-то в этом роде. Он и подтолкнул Германа Федоровича к учебе в Москве. Возможно, оттуда, от него у Германа Федоровича эти странные мысли.

Но сейчас Тарасова все это не интересовало, как тогда, в Чите. Лейтенант НКВД, сопровождавший его, крепко напугал всеми своими напутствиями.

Павла от волнения и тряски тошнило. Наконец, еще какой-то мост и вот впереди Штаб Московского военного округа, а справа, похоже, комендатура. Уж больно много там машин и суетливых красноармейцев. Да и несколько молодых комвзводов покрикивают, пинками разгоняют и без того расторопных служивых.

Эмка въехала во внутренний двор штаба округа, в котором стояли под парами три черных, лаковых, огромных лимузина, с длиннющими капотами и таким количеством начищенного хрома, что его хватило бы, по мнению Павла, на шесть двухведерных самоваров.

– Запоминай, Тарасов, – повернул голову водитель с дву-

мя макушками счастливчика, – Это вот авто Семена Михайловича. Все три. Он их никому не уступает, как и своих лошадей. Всегда работают, чадят. Он не любит, когда конь не волнуется, а техника не дымит и не разогрета. Говорит, паровоз на то и паровоз, чтобы пар из трубы валил, а так это груда металла. Автомобиль для него тот же паровоз.

Он подумал немного и отрицательно покачал головой:

– Неа! Не паровоз, а конь! Железный конь, вот что для него автомобиль. А потом уж паровоз.

Павел густо покраснел, потому что окончательно понял, что тут уже деваться ему некуда. Когда ехали, думал, что какая-нибудь случайность на дороге и все пойдет вспять. Но теперь впереди была только задняя дверь в углу двора, узкая лестница за ней, длинный изогнутый коридор и, наконец, огромная, светлая приемная маршала. Была еще парадная лестница, с набережной, но на нее таких как он не пускали.

В приемной маршала за четырьмя столами, похожими по размерам на ворота в крестьянском дворе, сидели двое ладных, франтоватых командира-кавалериста, даже со звонкими шпорами на отливающих антрацитовым блеском сапогах, пожилая сухая женщина с седым плотным коком на макушке, похожая на старорежимную учительницу, был здесь еще и пустой стол. Перед женщиной стоял чугунный, огроменный «Ундервуд», который настойчиво конкурировал со звоном звездочек шпор и даже с молодцеватым грохотом подко-

ванных, словно лошадиные копыта, сапог. Этот «ундервуд» с его старой, проверенной пулеметчицей, как сразу окрестил ее Павел, мог бы соперничать даже с «Максимом», а не то, что со шпорами и каблуками. Грохота от него было столько, что казалось, будто тут самый что ни на есть революционный штаб где-нибудь в Царицыно и усатый атаман Первой Конной раздает свои боевые приказы, которые его верная «пулеметчица» переносит на бумагу, пробивая железными знаками и буквами ее невинное, белое тело, словно пулями.

Со стен свисало под углом несколько крупных картин, написанных маслом. Был тут и Сталин во френче, с погасшей трубкой, склонившийся над картой, и Ленин в кресле с развернутой газетой, и какие-то военные, смотрящие на одном из полотен друг на друга с гордостью, с молодцеватым достоинством, перед ними также, как и на картине со Сталиным, стелилась карта, чуть загнутая на углу, а за спинами, в небольшое приоткрытое окошко заглядывал светлоусый кавалерист в буденовке чуть набекрень, смеющийся, даже как будто подмигивающий. Павел успел заметить, что смотрит этот веселый боец на военного с широкой грудью и угадывающимся солидным брюшком, в зеленом френче, с огромными черными усами, с двумя боевыми орденами на красной подложке. Этим военным мог быть только сам Буденный. Рядом с ним стоял с карандашом в руке, крепко задумавшись, Ворошилов, тоже в зеленом френче, а еще один из военных определенно был похож на Фрунзе. Был там еще

кто-то, но Павел не успел тогда его рассмотреть. Главным в картине все же был откровенно восхищенный взгляд веселого кавалериста, направленный на Семена Михайловича. Вот увидишь бойца и сразу переведешь взгляд на Буденного, а остальных только потом станешь разглядывать.

Лейтенант исчез так незаметно, что Павел, оглянувшись вокруг себя, вздрогнул. Но сначала они вдвоем вошли в приемную, и навстречу им поднялся невысокий, но кряжистый, крепкий, кривоногий комполка, один из тех двух командиров в антрацитовых сапогах и со шпорами. Он грохнул подбитыми каблуками, звякнул звездочками шпор и как будто даже прислушался к этой дивной музыке. На лице его эти звуки отразились привычным удовольствием. Лейтенант что-то быстро, негромко доложил ему, тот солидно кивнул и легким движением руки отпустил чекиста. Тот незаметно исчез, и Павел именно тогда и почувствовал себя совершенно одиноким, брошенным. Кривоногий медленно обошел замершего Тарасова и, удовлетворенно хмыкнув, хлопнул его ладонью по плечу:

– Жить будете на территории штаба, тут у нас есть своя небольшая казарма, довольствием и всем, что полагается, обеспечим. Оружие получите. Пограничник?

– Так точно, товарищ комполка.

– Говори, полковник. Так лучше. И Семен Михайловичу больше нравится. Сейчас я тебя ему представлю. Да ты не трясись, Тарасов! Батя у нас казак с понятием, хоть и горя-

чий. Ну, так казак же!

В это мгновение огромная двойная дверь, на которую только теперь обратил внимание Павел, разлетелась в стороны и грохнулась металлическими ручками о стены. Из нее ядром вылетел невысокий, полный военный, немолодой уже, но еще и не старый. Он не удержался на ногах и животом, расставив руки, полетел вперед, прямо под ноги обомлевшему Тарасову. За ним выскочил, будто преследовал врага в конной атаке, распаленный, в распахнутом кителе, в белой, мятой рубахе, с горящими глазами, с подрагивающими тяжелыми брылами в мелких красных прожилках и с неестественно пушистыми черными усами известный всей стране казак. Это он был на картине, правда, там в его темных глазах были умная ирония, мудрость во всем его облике и почти монументальный генеральский покой в фигуре.

– Я тебя в окопах сгною, белый недобиток! – орал усатый казак, – Ты у меня вшей кормить будешь! Учить вздумал маршала! Отца учить, как мамку любить! Пошел вон!

О каких окопах орал Семен Михайлович, Павел не мог понять. Он даже подумал, что пока сюда ехали, началась война. Самураи, наверное! Он только таких врагов знал, потому что почти два года они были очень близко от него. И ими постоянно пугали командиры.

Буденный вдруг остановился, уперся кулаками в бока и, покривив шею, уставился бешеными глазами на Павла. Ноги в генеральских бриджах, с лампасами, с сияющими, как

у командиров в приемной, сапогами были широко расставлены и походили либо на две кривоватые колонны, либо на ноги памятника – такими они были надежными, крепкими.

– Это что еще за молодой Чапаев! – вдруг строго потребовал немедленного ответа маршал.

– Это, Семен Михайлович, сержант Тарасов, Павел Иванович, из приданных, так сказать, сил…для охраны. В нагрузку к Пантелеймонову и Рукавишникову. Вот тут, с ружьем…, как у Ильича было, – спокойным, ровным голосом доложил полковник в шпорах, как будто на полу перед ним не валялся всклокоченный человек в расхристанной форме. Он указал широким жестом на дверь, около которой должен теперь стоять на посту сержант Тарасов.

Маршал мгновенно сменил в своих темных глазах гнев на искреннее любопытство и неспеша стал обходить кругом Павла. Когда круг этот завершился, а тот, что все еще лежал на полу, у самых ног, живенько вскочил и бросился в дверь, Буденный, не обращая на него ни малейшего внимания, заглянул Павлу в глаза, снизу вверх, хотя и сам был человеком не низкого роста.

– Каковский?

– Из крестьян, товарищ маршал, – едва не закашлявшись, ответил Павел и вытянулся в такую напряженную струнку, что чуть было не зазвенел.

– Из каковских?

– Тамбовские мы, товарищ маршал. Виноват…

– Кто виноват? – Буденный картинно нахмурился, стрельнул глазами, усы грозно разъехались в стороны, еще больше распушились.

– Я виноват, товарищ маршал Советского Союза…

– Ну, ну! А ты того не знаешь, казак, что есть и другие, по более тебя, виноватые. Слыхал?

– Виноват…, – голос Павла дрогнул. Такого с ним еще не случалось. Даже в драках, даже тогда, когда три жигана хотели вспороть ему живот на пустой дороге. А тут ноги ослабли, затряслись. Ведь какая легенда перед ним стоит, уставив руки в боки и топорща усищи! Да еще спрашивает, слыхал ли он о том, кто поболее Павла, его отца и дядек виноват в том, что случилось в тамбовских степях много лет назад.

– Опять виноват! – Буденный вдруг негромко рассмеялся и привычно провел указательным пальцем по усам, взад-вперед.

От этого тихого смеха Павлу вдруг стало легко и даже самому захотелось засмеяться. И так это было неудержимо, что он не сумел подавить улыбку.

Маршал вдруг резко обнял его за плечи, чуть привстав на цыпочках.

– А ну-ка, казак, отвечай, какое у тебя образование?

– …семь классов, товарищ маршал Советского Союза…, виноват…вообще-то четыре, но я помогал учителю…и училке…то есть учительнице, уроки вел у самых младших …иногда, конечно… Вот мне и написали – семь классов. А

так…четыре.

– Я же говорю – молодой Чапаев! И тот учителем был. Грамотный. А! Ну, служить у меня верой и правдой будешь? Не предашь, как другие?

Павлу впору было грохнуться на колени и взмолиться о пощаде. Но у него лишь наполнились густыми слезами глаза, словно расплавленным горячим стеклом. Руки вздрогнули, сжались пудовые кулаки.

– Но, но! – Буденный как будто в шутку опасливо отодвинулся и тут же уважительно пощупал один из кулаков, что был поближе к нему, – Это я так…положено спрашивать… Ну, вот, словно девка! Сейчас и разревется! Кого присылают!

Еще немного и он бы опять вспыхнул гневом. Но, увидев, что у Павла действительно уже дрожат губы, вдруг ласково и нежно улыбнулся:

– Вижу, не предашь! Хоть ты и ихний, но раз погранец, значит, почти наш.

Он повернулся к полковнику и гаркнул:

– Поставить молодого Чапаева на довольствие, как положено… трехлинейку ему, новую, со штыком, и с завтрашнего утра на пост…здесь!

Маршал почему-то указал пальцем себе в ноги. После этого он, оттолкнув Павла плечом, устремился в распахнутый створ двойных дверей своего кабинета. Из-за стола, что был ближе к дверям, выскочил еще один военный, в чине, кото-

рый Павел от волнения даже разглядеть не сумел, и торопливо прикрыл за спиной маршала тяжелые створки дверей. Этот был молод и худ, с аккуратной, глянцевой стрижкой, синеглазый, с усиками «ниточкой» под тонким, длинным носом. В портупее, ремне, и тоже в сияющих сапогах и со звонкими шпорами.

С этого и началась в самом конце 1937 года служба Павла Тарасова маршалу с героическими усищами. С этого же дня тот стал именовать его «Молодой Чапаев» и никак иначе. Это многих удивляло – и ростом он для Чапаева велик, да и вообще, как будто, совсем ничего общего. Но маршалу, как известно, это лучше знать.

5. Маленький человек

Маша долго привыкала к мысли, что у нее теперь есть любимый человек. Всё казалось, как будто поезд идет, идет, станция за станцией, но все равно рано или поздно придет на конечную, а там вагоны расцепят, паровоз угонят в депо, вот и вся дорога! Вот и вся любовь!

У Маши был лишь один опыт телесной любви с мужчиной. Ей он показался очень неудачным, даже страшно неинтересным. Может быть, поэтому хотелось перепроверить себя или, возможно, его, первого. Тот был старым маминым знакомым по какой-то прошлой работе, хоть был и значительно моложе ее. Как-то пришел к ним на Ветошный (Маша тогда еще в последнем классе школы училась), выпивший, какой-то грустный, подавленный. Мамы не было, но Маша впустила его, потому что неудобно было оставлять за порогом «старого», как ей казалось, человека. А ему было то не больше тридцати семи тогда. Как вышло, что они оказались в постели, Маша так и не смогла вспомнить. То ли уступила по той же причине, по которой впустила, из неудобства или из жалости; то ли от любопытства, что такое происходит у взрослых и старых людей между собой; то ли потому что испугалась его настойчивости, а возразить не посмела. Было не больно, а как-то очень неловко, до тошноты неприятно. Потом произошло что-то совсем уже неясное, слабое, с

мгновенным замиранием сердца и со сразу наступившей после этого досадой. Он пьяно пыхтел, от него дурно пахло изо рта, из подмышек, откуда-то снизу, из межножья. Маша подумала, что у него и с мамой такое, наверное, бывает и очень ее пожалела. Но позже мама страшно удивилась ее вопросу о том, было ли что-нибудь эдакое у той с этим человеком. «Да как же можно! – вскричала мама, – Он же гадкий!» И тут же встрепенулась: «А у тебя, у тебя было!» Мамины глаза тут же налились горячей тревогой, готовой вырваться через горло истошным криком. «Нет, нет! – торопливо запричитала Маша и переселила себя, чтобы не отвернуться и тем самым не выдать свою ложь, – Что ты такое говоришь! Он же старый! …И действительно гадкий!» Мама с недоверием покосилась на нее и беспомощно поджала плечами. Больше этот человек к ним никогда не приходил и о нем никто ни разу и не вспомнил. У Маши никаких последствий от связи с ним не наступило.

Так вот теперь она хотела бы знать, так ли бывает со всеми мужчинами или только вот с такими – старыми, смердящими водкой и потом. Ее снедало жгучее любопытство, готовое перерасти в почти неприличное нетерпение. Она очень боялась себя выдать (почти как тогда в разговоре с мамой), потому что даже тайное ожидание «этого» от Тарасова казалось ей оскорбительным по причине его преждевременности. А в глубине души понимала истинную суть того оскорбления: «А как откажет! А как оттолкнет! А как посмеется над ней!»

С Павлом они вновь встретились только уже в конце января 1938-го года, в лютый мороз. Павел сам пришел на Ветошный, с промерзшим насквозь тортом в руках, который купил в коммерческом.

Он сначала долго ходил по переулку, расспрашивая жильцов, где живет молодая женщина Маша с болеющей матерью, ему боялись отвечать, махали руками, выталкивали за двери, хлопали ими перед носом.

В самом центре столицы от этого ветхого районочка веяло жалкой нищетой, какая бывает там, где рушится уютное прошлое, а на смену к нему приходит зыбкое, дырявое настоящее. И это «зыбкое» сразу не умирает, а волочит свои дни мучительно долго, оставаясь не то горькой памятью, не то даже упрямым укором настоящему.

В одной из таких нищенских квартир пьяный небритый тип неопределенного возраста даже обложил его матом:

– Мать твою…чтоб ей…уж и днем ездят! Мало им, чертям, по ночам шляться! Пошел на хер! Торт взяли и думают людей обмануть! На-ка выкуси, морда твоя наглая!

– Послушник он бывший, в монастыре еще тут жил…, – с извиняющейся улыбкой объяснил в соседней квартире старичок профессорского вида в потертой меховой душегрейке и в узбекской тюбетейке на почти лысой, облезлой голове, – Спился! А ведь был приличным человеком, образованным. Некогда в медицинском даже учился, да вот решил постричься, это еще перед мировой … Но принять постриг не

успел…, революция, гражданская…, голод потом… Эх-хе-хе! Видите, молодой человек, как в жизни бывает! У него младшего брата увезли в четверг, на прошлой неделе, ночью почти… Арестовали, учинили обыск …, книги на улицу выкинули… Вроде, он заговорщик…, с тайным духовенством как будто был связан… А этот вас за энкаведешника принял с пьяных глаз, вот и ругается.

– А что брат? Действительно враг?

– Кто ж его знает, – старичок вдруг стал серьезным, забубнил что-то себе под нос и тоже стал прижимать дверь перед самым носом Павла, – Сейчас разве разберешься? Раз пришли, так, видимо, за дело… Выселять нас хотят, а он очень даже недоволен был, мол, монастырское общежитие здесь когда-то было, и врачи тут тоже жили, это, дескать, их с братом законное место. Ругаться ходил, жаловался, бумаги писал… Хоть и молодой…двадцати четырех лет, а злой… Справедливости все искал, дурак! Тоже в медицинском учится…на Пироговке, на последнем курсе. У них и батюшка врачом был, а уж дед, будучи молодым хирургом, так еще в Крымскую кампанию в войсках, говорят, даже Пирогову ассистировал… К самому Льву Николаевичу вхожи были, после Крымской… Ночевали у него даже, у графа Толстова, батюшка их, и дед… Там ведь Пироговка рядышком с его, графа, московским имением… Так что, вы на него зла не держите…, нервы все это…и водка… Раздражение…видите ли…, молодой человек…

Павел поставил ногу, обутую в промерзший насквозь сапог, в створ двери.

– Извините, папаша! Я вот тут в гости пришел… Маша Кастальская…, Мария Ильинична. Они с матерью живут, а та болеет. Не знаете, не здесь ли, не в этом ли доме? У них, вроде, две комнаты…

– Это не тут, молодой человек, – уже очень сухо ответил старик и решительно нажал на дверь, больно защемив Павлу ногу, – Тут нет таких. Дальше идите по переулку, а после вглубь, напротив торговых рядов… Там получше дома, для начальства. Извините, товарищ командир…, уберите, будьте так любезны, ногу, а то холодом задувает.

Тарасов стал нервничать от того, что не может никак найти Кастальскую, да еще сильно замерз. Ноги в сапогах ломило уже так, что ступать даже стало больно. Пальцы одеревенели, их словно выламывало. Он сердился на себя, что не надел валенок, хотя ему в казарме взводный говорил. Решил пофорсить, а как заболеет! Семен Михайлович такого не понимает. Если, говорит, казак болеет, то слабак он или симулянт. А это уже саботаж. За такое в гражданскую, мол, даже к стенке ставили! Это так взводный рассказывал про Буденного. Но Павел не мог себе позволить придти впервые в дом к Маше Кастальской в огромных валенках, в калошах, как будто в деревне, а не в Москве. К тому же, его не приглашали, а значит, свалится как снег на голову! Да в валенках! Ну, как же так!

Он не знал, как иначе встретиться с Машей. На службу ведь к ней не придешь. Вроде бы, ни к чему это, официальных причин нет. Павел и не знал, живет ли где-нибудь поблизости, на Садовнической набережной, какая-нибудь ее подруга, от которой бы она шла и совсем «случайно» натолкнулась бы на него. Поэтому он, дождавшись, наконец, увольнительной, собрался с духом, купил на Пятницкой, на углу с Большим Овчинниковским, в коммерческом, там еще колокольня напротив, бисквитный торт с кремовыми розочками и через Чугунный мост, а затем сквозь продуваемый ледяным ветром Большой Москворецкий – к храму Василия Блаженного, а оттуда за ГУМ и на Ветошный. Пока дошел, продрог, ушей не чувствовал, щеки задубели как деревянные, ноги точно чурки стали, а пальцы на руках, да и на ногах, так ломило, что хоть отрубай их. А тут все буквально матом обкладывают, дверью мерзлый нос готовы прищемить, и никто не знает, где живут эти самые Кастальские.

Он бы, наверное, так бы и вернулся в казарму с тортом и с отмороженными ногами, если бы вдруг не натолкнулся прямо на улице на Машу. Она шла в форменном пальто и в шапке-ушанке со звездой, торопливо, как будто стараясь обогнать мороз.

– Ой! – вскрикнула Маша радостно, – Паша! Откуда! Вот молодец! Ну, молодец! Ты меня ищешь или к кому-нибудь другому торт несешь?

Маша была так легка, будто от мороза потеряла вес. И

форма ей, оказывается, шла: своей серьезной серостью и аскетизмом будто спорила с ее свежим девичеством, даже украшалась ею. Щеки зарумянились, а глаза сверкали зимним весельем. Она сразу перешла на непривычное «ты», словно они с Павлом уже давно так.

Павел смутился, но тут же взял себя в руки и ни с того ни с сего протянул Маше торт. Она звонко рассмеялась, уткнулась вдруг в Пашу обеими руками и резко развернула его в узкую подворотню, мимо которой он два раза уже проходил и даже не заметил ее. За подворотней открывался небольшой дворик с двумя плотно закрытыми дверями, без навесов.

Тарасов растерянно остановился и развел руками, оставаясь по-прежнему с тортом, который теперь постукивал в картонной коробке, как камень.

– Я бы нипочем не догадался, товарищ младший лейтенант! – начал он, – Мимо столько раз прошел, а сюда не заглянул.

Но Маша неожиданно поднялась на цыпочках, обхватила руками Павла за шею и впилась губами в его одеревеневший рот, околдовывая своим теплом. Поверху жег мороз, а внутрь Павла, в его изумленную душу, сквозь потрескавшиеся от холода губы, неожиданно ласково входил долгожданный, волнующий жар молодой женщины. Так они стояли в подворотне, не замечая ледяного ветра и крепкого мороза.

– Я же тебя просила, Пашенька! Миленький мой! Зови меня по имени. Ну, пусть я в форме сейчас…, что с того! –

шептала Маша, – Я тебя ждала, ждала, а ты всё не шел.

– Я не мог, Машечка! Не отпускали. Семен Михайлович…строг он очень… Я, конечно, не в претензиях… Но вот сегодня увольнительная, я сначала на Пятницкую, за тортом, а потом сразу к тебе. Искал, спрашивал…, никто не знает. Ругаются…

Маша рассмеялась и уютно прижалась к его груди, пряча за отвороты его шинели руки в серых вязаных варежках.

– Пойдем к нам, – как будто очнулась Маша, – Что ж мы тут! Так и в сугробы недолго превратиться.

– А мама…ваша мама…твоя мама? Болеет ведь… Удобно ли будет? Возьми вот торт, а я пойду себе.

– Вот еще дуралей какой! – Маша весело хлопнула его ладошкой в варежке по груди, – Я тебя никуда не отпущу! Мама спит почти все время… Мы не станем ей мешать.

Они уже шли к подъезду, который оказался темной и дурно пахнущей дырой. Гнилые деревянные лестницы, которые, по словам Маши, обещали уже больше года как заменить, раскачивались и скрипели под тяжелыми ногами Павла так, что сердце вздрагивало в груди. Неужели, подумал он, это те самые дома, в которых живет начальство, как только что говорил старик в душегрейке? Отсюда в самом деле людей надо выселять, потому что жить тут человек не должен. Наверное, когда-то, когда это было частью какого-то подворья, тут еще была жизнь и она, наверное, вполне соответствовала бытовым достижениям своего времени. Но сейчас время

здесь точно остановилось и то, что было сносно тридцать лет назад, теперь являет собой обыкновенное уродство и даже позор. Ему даже стало жаль Машу и ее маму, и старика в душегрейке и еще больше почему-то брата того бывшего послушника, который обивал пороги разных начальников, а заработал лишь арест. Павел удивился этим своим неожиданным мыслей. Но ведь они возникли из только что увиденного им, а значит сами пришли в его голову. Но все равно это было как-то странно, непривычно для него. И еще он подумал, что сам ведь никогда в удобстве не жил и как люди им пользуются, только представлял себе. Однако то обстоятельство, что в двух шагах отсюда Кремль, а в нем сам Сталин живет, курит свою трубочку и, должно быть, ничего не знает о том, что тут такое свинство с молодыми врачами творят, что их арестовывают по ночам только за то, что они требуют к себе человечности, еще больше взволновало его.

Тарасов встряхнул головой, чтобы отбросить эти неожиданные мысли. То было странное ощущение, незнакомое и пугающее, точно в чем-то его предостерегающее, что-то невнятно предсказывающее.

Павел и Маша поднялись на третий этаж, Маша вдруг мелко задрожавшей рукой отперла дверь длинным старым ключом, почерневшим от времени, и оба шумно ввалились в маленькую квартирку, в которой Павлу сразу стало тесно и душно, хоть и тепло. Маша вынула у него из рук коробку с мерзлым тортом, куда-то на мгновение исчезла, потом

вернулась без торта, без пальто, только шапку еще не сняла. Она стала торопливо расстегивать пуговицы на шинели Павла, он помогал ей негнущимися пальцами. Потом он с неимоверным трудом стащил с себя ледяные сапоги, застеснялся распустившихся портянок, но потом все же ловко обвязал ими щиколотки ног. Маша втолкнула его в узенькую комнатушку, едва освещенную малюсеньким окошком, утопавшим в стене наподобие бойницы. А дальше Павел уже не помнил, как с них слетала вся одежда, как они очутились на неразобранной постели с воздушной горой подушек, как он сразу, не успев даже выдохнуть, вошел в нее и как испугался, что раздавит эту некрупную, горячую молодую женщину под собой. Она крепко, требовательно обхватила его руками за шею, изогнулась, закусила свою нижнюю губу и закрыла глаза в предвкушении того, чего еще не знала. Она удивилась, что ей сначала стало больно, будто он первый у нее, и даже потом нашла на простыне несколько капелек крови. Уже много позже она осторожно спросила об этом у женщины-военврача во время короткой командировки на фронт (тогда уже шла война с немцами), почему так получилось, ведь Павел был не первым, а первым был пьяный мамин знакомый. А та ответила просто, все сразу поняв:

– Да не было у тебя ничего с тем! Растянул он тебя там самую малость, ничего не нарушив, а сам на нормальное соитие был, по-видимому, неспособным. Должно быть, слабенький был мужичок-то, да и пьяный к тому же, торопился, а

вдруг мать придет! А этот сильный, молодой, да ты и сама хотела. Вот потому тут и вышло так. Первым он у тебя был. По-настоящему, первым. А того, считай, вообще не было.

На этот раз маму Маши Кастальской он не видел. Не то она действительно крепко спала в своей комнатенке, за чуланчиком, не то просто сидела там тихонько как мышка, боясь побеспокоить дочь и ее гостя.

Павел стал приходить сюда в каждое свое увольнение, и в третий свой приход, уже в самом конце февраля, в поземку, стрелявшую в лицо мелкой, как манка, ледяной купой, он, едва сняв шинель, столкнулся в той же узкой прихожей с пожилой, по-видимому, когда-то интересной женщиной, со спутанными седыми волосами, в длинной, простенькой ночнушке, с металлической кружкой в руках.

Маша отперла входную дверь, торопливо, приподнимаясь на цыпочках, помогла ему снять шинель, и в этот момент за ее спиной появилась мама. Она несла воду к себе в комнатку из крошечной кухоньки. Женщина без стеснения, скорее даже, с внимательным любопытством уставилась на Павла снизу вверх. Павел помнил, что она родственница Германа Федоровича, которого он с тех пор, как сошелся с Машей, так и не видел, и с любопытством стал рассматривать ее лицо. Было очевидное сходство с обликом полковника, как бывает между людьми одной породы. Однако же на лице Германа Федоровича всегда держалась особенная сосредоточенность, словно он постоянно решал важную задачу и требовал от се-

бя самого остроумного положительного результата, а лицо его родственницы было усталым и вялым, как будто она свою задачу уже давно решила, и у той оказался отрицательный ответ.

– Мама! – воскликнула возмущенно Маша, – В каком ты виде! У нас же гость.

Женщина поджала губы и недоуменно приподняла острые плечики. Была она такая же невысокая, как и ее дочь, но много худее ее, тоньше.

– А ты бы нас познакомила, Машенька, с молодым человеком, – вдруг сказала она и теперь уже смело посмотрела Павлу в глаза.

– Меня Павлом зовут… Тарасовым. Павлом Ивановичем, – стараясь не видеть то, как она одета, а, вернее, не одета, представился Павел.

– И я в девичестве была Тарасова, – и тут в глазах у женщины прыгнули те же веселые чертики, какие часто бывали в глазах Германа Федоровича, но только эти чертики давно уже состарились и теперь только вспоминали свое забытое веселое прошлое.

– Маму зовут Надеждой Федоровной. Она в медицине тоже работала…как отчим… была сестрой милосердия.

– Операционной, – гордо поправила Надежда Федоровна.

Она вдруг жеманно присела в забавном книксене и церемонно прошла по узкому, короткому коридорчику в сторону своей комнатенки.

– Маша, покорми Павла Ивановича, – вдруг строго распорядилась она, – мужчины всегда голодны.

Маша стеснительно улыбнулась, низко пригнула голову и нырнула в подмышку к высоченному Павлу. Ей стало очень уютно и тепло – Павел, большой и сильный, пахнущий влажным снежком и ветром, и мама, так, оказывается, правильно всё понимавшая. Она даже не постеснялась Павла, она приняла его. Это ведь уже почти как семья! Ведь, что такое семья, подумала Маша? Это когда все друг друга так хорошо, так искренне понимают, что добродушно смиряются со странностями и привычками друг друга.

С тех пор Надежда Федоровна часто выходила из своей комнатушки к Павлу поздороваться, но всегда уже одетая во что-нибудь домашнее, скромное.

Однажды Маша спросила о его матери и сестрах. Но Павел покраснел, отвел глаза, а потом ответил даже слишком неохотно, хотя это было лишь от стыда за свою холодность к забытой семье. Маша поняла и сделала вывод, что больше никогда не будет возвращаться к этому.

– Они далеко … – сказал тогда Павел, – Они другие… Я им помогаю. Деньги шлю…, гостинцы. Мы с матерью не так, как ты со своей. Совсем не так! Я не хочу больше об этом, Маша! Прошу тебя…

– Какой-то ты неродственный, Паша…

– Какой есть! – буркнул он и отвернулся.

Павел стал втайне мечтать о том, как он, наконец, покон-

чит с действительной службой, перейдет на сверхсрочную, там же, у Семена Михайловича, и сможет жениться на Маше, жить с ней и с ее мамой в Ветошном или где-нибудь еще.

Но планам этим сбыться не довелось. Они были отодвинуты в сторону почти историческими событиями.

Маша мечтала о том же. Даже думала уволиться из НКВД, где ей служить становилось все больше в тягость. Очень ее беспокоили и пугали слухи о том, что их будут перетрясать, вновь «чистить».

Она изредка виделась с Мирой Польской, однокашницей по короткому курсу в специальной школе НКВД, и та, теперь младший сержант из Бутырского следственного изолятора, тревожным шепотом рассказывала, каких людей ей приходится видеть там каждый день. То были и наркомы, и комдивы, и их жены, и даже дети, а еще разные артисты, артистки, в том числе, очень известные, сразу узнаваемые, хотя теперь уже совсем иные, усталые, с отчаянием в испуганных глазах, много замордованной, притихшей интеллигенции и даже обычных, совершенно растерянных людей. Метут всех, набивают, как сельдь в бочках, в душных или холодных, в зависимости от времени года, камерах. Кого-то уводят и больше не возвращают назад. И на суд, и на пересылку, и в расход.

Мира сначала мечтала выскочить замуж (только об этом и говорила), а теперь, вдруг потеряв всякую надежду образовать свою семью, хотя была миловидной женщиной, желала

лишь поскорее забеременеть, что даст ей право надолго уйти со службы. Другого пути она не видела, потому что знала, чем может кончиться для нее обыкновенный отказ служить дальше. Посчитают демонстративным, вроде протеста, и начнут преследовать. А это у них быстро случается – от решения до исполнения короткая прямая, как между камерой и подвалом. Кто же оставляет на свободе человека из такого места, да еще в ясной памяти! А попадешь туда, к тем, кого выводила на допросы к следователям! Хорошо (хорошо ли вообще!) если еще определят к политическим, а если к уголовницам! Со света сживут! Так что уйти надо тихо, без шума и скандала.

Личная жизнь у Миры не складывалась, сама себе была противна. Ведь и не думала, что так все это мерзостно выглядит. Говорили, когда брали на службу, одно, а вышло совсем другое. А ведь могла, как Маша, в кадрах или еще где-нибудь в спокойной бюрократической службе, а тут прямо в Бутырки!

– Как я теперь замуж пойду! – жаловалась она, – Кому такая нужна? В тюрьме выводящей работаю. Разве это для женщины труд? Там слез, знаешь сколько! Что море! Страшно-то как! Насмотришься, наслушаешься, потом ночь не спишь. И никак не свыкнусь, Машка, я с этим! Другие ничего…, может, свыклись, а может, души у них черствые… Я, вроде, там одна такая. Кроме тебя и сказать ведь некому. Донесут… Даже родителям боюсь заикнуться. Отец всё хму-

рится, а мама вздыхает. Нет, эти, конечно, не донесут…, я же дочка им… Но как объяснить?

Мире казалось, что на фоне того холодного, сурового ужаса, к которому она имела непосредственное отношение, создать свою собственную, мирскую жизнь, да еще не испачкав ее о ту грязь, невозможно. Она часто плакала, вспоминая взволнованным шепотом то, как отняли ребенка у кого-то и отправили в приют при еще живых родителях; то, как долго били женщину на допросе, а Мира слышала ее отчаянные вопли даже из-за сдвоенных, сцепленных друг с другом, дверей; то, как истошно ревел мужчина, точно раненый зверь – от боли, от крайней безысходности, от ужаса происходящего.

– Этого же не может быть, чтоб столько врагов и вдруг все разом! Где же они раньше-то были! – торопливо лепетала Маше Кастальской Мира, недоуменно раскрывая огромные серые глаза, – Откуда взялись? Ну, гляжу я, Машка, на них…на женщин, на детей, даже на мужчин, растерянных, прижатых, и все думаю, думаю… Разве ж я могу теперь свою семью иметь!? Вот так ведь придут и отнимут всё разом, скажут, враги мы. Ни за что, ни про что! Этим же сказали! Они не сознаются, их бьют, смертным боем бьют, а потом увозят…, даже многих расстреливают … У нас, понимаешь? Там есть такое… Ставят в коридоре, а потом кто-нибудь подходит сзади и в затылок из нагана. Даже женщина одна у нас такая служит, здоровенная баба, рязанская, как будто! Стрельнёт, а потом в столовке сидит, жрет, чай

ведрами пьет, с конфетами…, а еще очень борщ любит…с пампушками… Да все это какой-то нескончаемый поток! Со всей страны везут…, тут на них дела…, а, говорят, ведь и там также, тоже дела, кого-то стреляют, кого-то судят по-быстрому и на Севера… К нам приезжали из Курска и из Ленинграда сотрудники…, тоже конвойные, выводящие…, на помощь…временно, а то у нас людей не хватало. Так они рассказывали… Мест не хватает в изоляторах! Вот как! Транспорта уж нет для этапа, конвоя и…и вообще… Людей кормить нечем. А их ведь тысячи, тысячи…! Можно ли такое! Это ведь ошибка всё, ошибка! Я не могу там больше работать, Машенька! Хочу ребеночка, маленького…, убежать с ним подальше, спрятаться… Зачем я сюда пришла? Ну, дура, дура! И стыдно-то как!

– Так уйди! Заявление напиши и уйди! – раздражалась Маша, упрямо не желавшая доверять словам Миры.

Она решила, что у той просто слабые нервы, а потому оценки всего происходящего у нее ошибочные, она не видит очевидного для всех: врагов не видит, не понимает, что сейчас всё обострено, что тот же враг хитер, изворотлив, и только так с ним можно, иначе он также поступит с нами.

– Да что ты! Как так напиши заявление да уйди! – глаза у Миры, услышавшей это, еще больше расширились, разом просохли, а кровь бросилась в лицо, – Меня же сразу…, даже спрашивать не станут, почему да что, а если ребеночек…, так тут же все понятно. Нет, мне так не надо! Так страшно!

Ее беспокойство, а потом и само отчаяние постепенно передалось, наконец, и Маше. Она служила в кадровом управлении, а не в тюрьме, но тяжелый, необъяснимый по своему упрямству, дух оттуда доходил и до ее маленького, тихого кабинетика.

Она не принимала участия в жестокой практической работе, которая губила душу Миры, но все же видела ее по-своему в своей служебной повседневности. Действительная суровость этого времени была закрыта для Маши крепостью, построенной из канцелярской бумаги, чернил, серых папок, сухих анкет и коротких, почти ничего не объясняющих строчек приговоров или так называемых оргвыводов. Страшная, кровоточащая жизнь попадала к ней уже в виде сухого песка, который она как будто насыпала в скучные сосуды и расставляла на полочках в алфавитном или в каком-то ином канцелярском порядке. Маше не хотелось ворошить это, а даже напротив, она настойчиво прятала от себя досадные ответы на тревожные вопросы (да и могла ли она вообще ответить, если этого не сумели сделать тогда даже развитые умы!), и потому Мирин рассказ ее сердил, и даже мешал жить. Постепенно та крепость из бумажных папок и сухих документов стала каменной, непроницаемой, и у Маши даже испарилось первоначальное, естественное любопытство, толкавшее ее выглянуть наружу и взглянуть на жизнь в ее живом, кровоточащем выражении. С годами, когда она уже состарилась и когда вся та жестокая действительность, которая рвала

душу Мире, стала доступна многим, Маша по приобретенной за долгие годы профессиональной привычке и из страха быть обвиненной в кровной связи с тем кошмаром, зарылась еще глубже внутри своей крепости и окончательно отказалась понимать все то, что сводило с ума Миру и что могло свести с ума и ее.

Но сейчас все это было еще свежо, еще остро чувствовалась боль, ощущался пряный запах чужой крови и пота, и Маше, не знавшей, как может сложиться ее судьба на десятилетия вперед, хотелось избавиться от ощущения вины и от постоянного ожидания опасности, нависшей над ней наподобие бесстрастной, безразличной ко всему живому и трепетному, державной скалы.

Павел же мог все изменить для нее, и вообще для них обоих. Надо лишь дождаться окончания его действительной службы. До этого брак был невозможен по многим причинам.

Они поженятся, спрячутся в уютной квартирке на Ветошном, с мамой, устроятся куда-нибудь на службу, на гражданскую, разумеется, и станут тихо жить. Потом у них появятся дети, а потом, бог даст, переедут куда-нибудь подальше от кремлевских стен, от Лубянки, от черной ночи, в которой многие только обреченно, молчаливо ждут страшной беды.

Но почему же беды! Ведь так все хорошо у нее теперь, ни намека на это! Может быть, все как раз очень справедливо? Все именно так, как следует? Но откуда тогда этот страх, эти

ожидания? Не от той же канцелярской тяжести неожиданно заканчивающихся личных дел сотрудников! Не из рассказов же Миры! Есть же враги! Несомненно, есть враги! Но ни она, ни ее мама, ни Павел врагами быть никак не могут. Значит, страх вырос на пустом месте, он от ее личной слабости, он – следствие ее впечатлительности. И все же… Все же лучше уйти отсюда, подальше уйти, спрятаться и спрятать то, что ей дорого, то, что не может существовать, если его не сохранить…

Все это Маша, прежде всего, трепетно сохраняла в себе, как тайное знание жизни, и хотела очень деликатно, очень постепенно передать ее Павлу. Да так передать, чтобы не испугать, не озлобить, не выдать тех важных секретов, которые ей были доверены государством, не выбить из-под него жизненной основательности, свойственной людям его происхождения и его крови. Крестьянин доверяет лишь земле, даже когда он оторван от нее, у него есть один бог – бог великого плодородия, требующий поклонения себе такого же естественного, как поклонение природе, как внимание к ее дарам, к ее великим явлениям. А Павел был из крестьян и в нем жил тот же дух, которого он не осознавал, как любой человек не осознает свое естество, не имея возможности сравнить его с чем-то. Маша это понимала и именно поэтому, кроме всего прочего, стремилась выстроить заградительную крепость вокруг себя и Павла. Но очень медленно она стала замечать, что он сделан из какого-то иного материала –

жесткого, непреклонного, даже, холодного, и в то же время умеющего вдруг стать гибким (после разогрева от горячих жизненных соков), податливым чужой воле. Это испугало ее, насторожило, и она еще настойчивее стала выстраивать картонно-бумажную, канцелярскую, сухую по своей природе, защиту вокруг себя и своего понимания действительности.

Павел же быстро усвоил все правила своей строгой и напряженной службы. Он действительно большую часть времени стоял за дверью приемной, у специально поставленной тумбочки, с начищенной, пахнущей ружейным маслом, трехлинейкой. Маршал, минуя его несколько раз на день, всегда на мгновение приостанавливался и заглядывал в глаза, а порой даже чуть заметно подмигивал. Как-то спросил, хитро сощурившись:

– Ну, что, молодой Чапаев, нравится тебе тут торчать? Или часы считаешь? Уволишься после действительной да в свои Тамбовские степи поскачешь?

– Никак нет, товарищ маршал Советского Союза, – ответил Павел, – На сверхсрочной желаю остаться. Если можно…я и дальше служить у вас стану.

– Ну, ну! Служи…пока. А может, мы друг другу разонравимся?

– С моей стороны такое невозможно, товарищ маршал Советского Союза.

Буденный усмехнулся в усы, стрельнул весело лукавыми

глазами и, махнув на прощание рукой, пошел куда-то по коридору. Вслед ему из-за многих дверей слышалось как неустанное эхо, шарахающееся от крашеных стен:

– Здравия желаю, товарищ маршал… Здравия желаю… Желаю… Желаю…

Звонко хлопали каблуки, а, порой, звенели шпоры. Бывший командарм ввел франтоватую моду на кавалерийский шик и в своем сугубо штабном ведомстве.

Кроме Павла, на часах у приемной стояло еще трое военных, тоже поставленных тут от НКВД. Они все меняли друг друга и на первых порах общались мало. Знакомы были только по именам и фамилиям – Степан Павшин, Родион Колюшкин и Иван Турчинин. Колюшкин и Турчинин были уже сверхсрочниками, а Павшину еще оставалось два года службы на действительной. Из всех самым младшим был Павел Тарасов, потому что на службу он напросился когда-то у помощника тамбовского военкома в девятнадцать лет, а эти все шли с двадцати одного. Но Павел был всех выше и крепче, и лишь его почему-то больше всех выделял маршал. Это было странно, но Павел уже стал привыкать к тому, что удача ступает к нему по вдруг неожиданно открывающимся дорогам. Он не догадывался, что все дело в его характере, тихом и верном, в особенном, простоватом обаянии, идущем от врожденной бесхитростности. Это чувствовали другие, сильные люди, они понимали в глубине души, что на такого можно положиться, на такого можно опереться, и что с ним, как по-

терять что-нибудь, так и найти не грех.

Хотя о той самой «бесхитростности» он сам думал иначе. Он ее стеснялся, потому что не верил, что столь уж искренен во всем. Да вот, например, как объяснить его побег из Лыкино, чтобы не нести на плечах весь груз забот о сестрах и матери? Бежал-то как будто не в те места, где можно наслаждаться бездельем на ряду с безответственностью, а как раз наоборот – на рисковую пограничную службу, возможно, даже к самому черту в зубы. Это ведь просто повезло, а так всё могло сложиться иначе. И все же именно в этом Павел видел скрытый интерес для своей личной выгоды – мол, рискнул, поставил на горячее, на острое, а выпала ему удача, выигрыш выпал. Да какой! Потому и краснел он, когда кто-нибудь почти упрекал его в добродушии и в бесхитростности. Казалось, дважды обманывает людей. Он не понимал, что в этом его смущении как раз и состояло искупление вины за тот побег из Лыкино, потому что внутри себя он не был слеп и глух, а то, что он осознавал без всяких внешних шор, трепало его память, а та, в свою очередь, бередила совесть. Но пойми он это, оно бы сразу стало частью его хитрости. Вот такое коварство ума, вот такое препарирование души как раз для Павла было чуждо, а потому он имел шанс так и остаться в девственном неведении о своем истинном характере. Слишком сложным было это, казалось бы, домотканое полотно, в котором он когда-то сделал свои неловкие стежки и теперь стеснялся его несвежего вида.

Кто знает, может быть именно поэтому, во искупление первых мелких юношеских грехов, которые виделись ему колоссальными преступлениями против собственной семьи, он и построил всю свою судьбу именно так, как в конце концов оно и получилось. Вся она с момента ухода из Лыкино крепилась на двух родственных словах: «должен» и «обязан». Кто сказал, что эти слова никогда не приводят к ошибке или даже к жестокости по отношению к другим, не исключая себя самого? В своем одиночестве, без сопровождения тех обстоятельств, которые исчерпывающе объясняют их справедливость, они могут стать величайшим злом, на которое только способен человек. Но еще не пришло то время для Павла, когда судьба предложит ему эту путаную формулу с такой изощренной хитростью, с таким бессердечием, что все его грешки юности покажутся мелкими, глупыми шалостями. Сейчас он только-только встал на ту длинную дорогу, с которой ему не сойти почти до конца его жизни.

Двое постоянных и один дежурный адъютанты тоже открыто симпатизировали Тарасову. Буденный всех их подбирал под себя и делал это безошибочно точно, а, значит, они легко ладили друг с другом. Вот и симпатии проявляли одинаковые. Впрочем, и Павшин, и Колюшкин, и Турчинин также пользовались их расположением.

Даже оба чекиста из личной охраны маршала, Пантелеймонов и Рукавишников, к Павлу относились с особой благосклонностью. Сначала оба надулись, что о его представ-

лении их заранее не предупредили, но потом уяснили, что Павел тут совершенно не причем, и стали внимательнее к нему присматриваться. Как-то Саша Пантелеймонов, низкорослый, ловкий сероглазый блондин, сказал Павлу:

– Коли ты намерен оставаться на службе, давай-ка мы тебя подучим нашим хитростям. Пригодятся еще.

Павел необыкновенно обрадовался этому, потому что искренне считал, что ему надо многому учиться, и теперь каждый свободный час старался провести с ними – с Сашей Пантелеймоновым и с Женей Рукавишниковым.

Руковшников был, напротив, очень высок, темен кожей и волосами, как и должно быть у цыган, и также, как большинство выходцев из его вольного племени, черноглаз. Говорили, что в действительности его когда-то звали иначе, но после поступления на службу в ОГПУ, даже еще во время учебы, кому-то из высокого начальства показалось то необычное имя скорее прозвищем, чем именем, и его записали на русский манер. Но национальные приметы и внешности, и характера все равно, разумеется, остались при нем. К Буденному его определили и за то, что он был великолепным наездником (а это маршал в мужчинах ценил более всего на свете), и, наверное, еще и потому, что Семен Михайлович тепло относился к цыганскому племени, считая врожденную горячность и вольность очень подходящими для кавалерийской службы качествами, и вообще – для боевой жизни. Он и свою охрану считал частью общей службы, а потому и на-

бирал ее или соглашался на нее (когда ее рекомендовали со стороны) только после того, как лично убеждался в ее способности стоять в том самом общем строю.

Оба чекиста великолепно стреляли из всех видов оружия. В тире они на спор друг с другом показывали Павлу прямо-таки чудеса со своими наганами и маузерами – на звук, на вспышку, на шепот, на быстрое мелькание, на секундное появление мишени. И ни одного промаха, ни одной ошибки. Оба к тому же еще и мастерски дрались. Даже низкорослый и компактный Пантелеймонов за считанные секунды одолевал огромного Павла, а вот друг с дургом они возились подолгу и не всегда с результатом для одного из них.

Они рассказывали Тарасову, что значит по-настоящему обыскать человека, да так, чтобы не обидеть его, потому что обыскивать приходилось высоких военных чинов, прежде чем их пускать к маршалу. Еще они учили Павла видеть глаза и мимику людей, угадывать их мысли, их намерения. Причем, молниеносно, почти как полет стрелы – времени на принятие решения ведь может не остаться. Рассказали, как быстро распознать левшу и тут же встать с его левой стороны, а не справа, как с другими. Они учили его мгновенно понимать, подготовлен ли человек специально к бою или никогда ничему такому не учился, как это сказывается и на чем. Вот, допустим, наймут нового повара, пузатого, с красной пропеченной рожей, с добрыми, веселыми глазами. Ну, какой он террорист! А вот и не так! Погляди за его руками, не

левша ли, не спрятано ли это от других. Много ли точности в движениях в обычной, непрофессиональной его жизни, какие мышцы у него работают, когда он делает шаг, когда протягивает руку, когда поворачивает голову. Скоординирован ли, собран ли, каков его взгляд, быстрый и внимательный или рассеянный. А может быть, не рассеянный, а, наоборот, именно таким образом собранный, вот так по-своему сосредоточенный? А вон тот новый шофер? Ты погляди, как он быстроглаз, как ловок в делах, которые выходят за рамки его профессии. Откуда это, если он в анкете указал, что у него всего пять классов образования и короткая служба в пехоте. Главное – детали! Самые мелкие, самые безобидные. В них может быть и опасность, и спасение. Детали, детали, детали… Замечать эти самые детали они и учили Тарасова. Если бы он только знал, как это все пригодится ему в недалеком уже будущем и как это самым роковым образом изменит его судьбу, пустит ее по собственному пути!

Павлу это было интересно и очень важно. Позже выяснилось, что его обучение приказал вести сам маршал. Ему нравился этот собранный увалень, и он хотел его оставить при себе надолго.

Однако же вскоре стали происходить события в истории не только страны, но даже и ближайших Европейских государств, которые, если уж и не внесли решительных коррективов в дальнейшую жизнь сержанта Павла Тарасова, то, во всяком случае, не могли не оказать на его судьбу весьма за-

метного влияния.

Маленькие люди, тихие солдаты шагают в колоннах, которые ведут большие люди и большие солдаты. Жизнь тех и других не только связана даже по бытовым, понятным, причинам, но, временами даже густо замешана в одном тяжелом зримом слитке. Случалось, что судьбы этих маленьких солдат вдруг становились неотъемлемой частью судеб целых народов и их вождей. Тут ведь можно и упустить тот скромный ручеек, который вливается в общий мощный поток, а, иной раз, даже в состоянии изменить его главное направление, неожиданно переполнив его своей последней, маленькой капелькой.

Решение о том, что сержант Павел Тарасов должен немедленно собраться и выехать с маршалом Буденным на пограничные территории Советского Союза, к его западным рубежам, поначалу не произвела на него такого впечатления, что вот он шагнул теперь в новую фазу своей жизни, из которой не сможет выйти почти до самого ее конца.

Действительная служба Тарасова должна была закончиться 31 декабря 1939 года, а дальше он намеривался остаться на сверхсрочную при маршале и при его охранной службе. Поэтому поездка на границу с Польшей воспринималась им как еще один полноценный опыт в его работе по охране важного государственного человека.

Павел даже не успел предупредить Машу о том, что уезжает.

Вообще-то, он привык к эпатажным выходкам Семена Михайловича. Происходило обычно это либо в приемной и кабинете маршала, либо при инспекционных выездах в войска Московского округа, которыми тот как раз и командовал до конца 1939 года.

Павла в последнее время часто ставили не на дверях у тумбочки с трехлинейкой, а сажали за пустой стол сразу слева от двери. На поясе у него в этом случае висела массивная, грубой кожи, кобура с безотказным, смазанным наганом. Его учителя, Пантелеймонов и Рукавишников, тоже постоянно находившиеся здесь же, в неприметной задней комнатке, стали доверять Тарасову досмотр некоторых посетителей маршала. Только самых крупных и заметных людей никому досматривать не разрешалось, даже им. Никто не стучал их по карманам, не предлагал вытащить и оставить в столе у Павла все опасные предметы, потому что они и сами охранялись очень бдительно и ревностно.

Павлу не раз приходилось видеть здесь и низкорослого, надменного маршала Ворошилова в окружении его собственной, не менее надменной, охраны, и холодного Вячеслава Молотова, приезжавшего бог знает по каким делам, и казавшегося очень старым, козлобородого Калинина, и даже Ежова, а затем и Берию, когда Ежова сняли и расстреляли. Были и другие – Жданов, Коганович, Маленков, Вышинский. Эти приезжали чаще всего на какие-нибудь чествования или праздники. А кто-то, возможно, и по делам.

Когда начались громкие политические процессы, самым частым гостем был Вышинский. Особенно это касалось дел, связанных с военными. Перед каждым крупным арестом он приходил к Буденному или же приглашал его к себе, и они подолгу разговаривали за закрытыми дверями. Тогда же появлялись, каждый в свое время, Ежов или Берия. Что требовалось от Буденного, можно было лишь догадываться. Скорее всего, его поддержки, как человека, которого ценили в народе за прошлое (для этого делалось все возможное, включая создание исторических мифов о том, чего он и сам не всегда знал), и что можно было использовать не только на скорых судах, но и в его горячих высказываниях в газетах.

Павел всех их узнавал, перед всеми бодро вскакивал и вытягивался в струнку. Ежов, еще в 37-м, в апреле, с неудовольствием, снизу вверх, со своего карликового роста, воззрился на высокого Павла, и тот разом, всем телом, вспотел от страха. Таких гостей, разумеется, не обыскивали, не беспокоили. Буденного, несмотря на его амбиции и честолюбивые обиды, за важное действующее лицо в стране никто из высших чиновников по-прежнему не держал (миф и только миф, нужный для дела!). К нему, как уже говорилось, обыкновенно приезжали такие персоны лишь в обязательные по чину короткие гости (за исключением тех тайных переговоров, которые вели Вышинский или Берия с Ежовым), либо чаще всего как ходят к памятнику, с той лишь разницей, что памятник этот одушевлен и даже забавно эпатажен. К тому

же, он, на их взгляд, комично был окружен шашками, револьверами, маузерами, звоном шпор и старых наград.

Основные приезды гостей случались на государственные праздники и, конечно же, на главный из них, по мнению самого Семена Михайловича, на его день рождения. Причем, праздновал он этот великий день обычно дважды в апреле – сначала по новому стилю – 13 апреля, а затем – по старому, 25 апреля.

13 апреля тридцать девятого года к нему по обыкновению приехали высокие гости, которые тут же заполнили приемную и один за другим ввалились в его обширный кабинет, увешанный кавалерийским оружием до самого потолка и щедро уставленный выпивкой да закусками. Обслуживали специальные, проверенные заранее особой чекистской службой официанты из «Метрополя». Вот их, официантов, и весь их хитрый, порой даже непонятный скарб Павел, потея и волнуясь, осмотрел и прощупал – все, до последней вилки, до каких-то щипчиков и ложечек с прихватами, с ситечками и крючками. Даже салфетки все развернул у себя на столе и повертел, помял в руках, чтобы ничего не попало в швы и между ними. Металлические предметы, а их было большинство, решительно отложил в сторону и вернул лишь под наблюдение троих угрюмых чекистов, приставленных к официантам.

Нарезку закусок производили в отсутствие маршала в специальной комнате для банкетов под неусыпным оком того же

Тарасова. С кухонными ножами посторонние в кабинет маршала зайти не могли даже в сопровождении охраны, несмотря на то, что шашки, сабли, пики, шпаги, кинжалы и даже средневековые стилеты висели на всех его стенах и лежали на всех полках, загораживая обязательные собрания сочинений великих живых и умерших коммунистических классиков. Рукавишников и Пантелеймонов в это время строго фильтровали незнакомых людей и иную обслугу в приемной маршала.

Когда стали съезжаться большие гости, Павла выставили на пост с ружьем у тумбочки, перед двойной дверью в приемную. Недалеко от него постепенно сосредотачивались охранники (в основном, в штатском) всех приехавших с поздравлениями гостей. Они косились на Павла, на острый штык и тихо переговаривались между собой.

Те, что собирались у Семена Михайловича в этот час, вечером уже в сопровождении жен, под звуки части симфонического оркестра из Большого театра пришли в «Метрополь». Там уже Павла не было, а вот Рукавишников и Пантелеймонов присутствовали везде, потому что это входило в их обязанности.

В тот день, 13 апреля 1939 года, когда Семену Михайловичу исполнялось 56 лет (дата не круглая, но в связи с уже основательным возрастом обязательная для чествования), Павел впервые увидел Сталина. Настоящую, истинную свою жизнь, наполненную особым смыслом, он стал отсчи-

тывать с того самого дня, никак не раньше. Потому еще долго и чтил память о Буденном, как о человеке, имевшем прямое отношение к той встрече. Впрочем, много позже, когда в его жизни произошли роковые изменения, он вновь увидел вблизи себя Сталина. И опять-таки благодаря тому же эпатажному командарму. Но то было еще далеко впереди, еще не просматривалось через густой дым нескольких войн, больших и малых, и сквозь серую рутину его рабочих буден. А тогда, тринадцатого апреля тридцать девятого года, сержанту Тарасову, еще не ощутившему себя пушечным мясом в большой разделке старой мировой туши, предстояло увидеть и услышать того, кто был также недосягаем для простого смертного, как бог на небесах.

Павел всегда считал, что ему необыкновенно повезло, потому что в день рождения маршала именно он, а не кто-то из трех его сменщиков-часовых, дежурил по служебному графику в приемной Буденного.

Тарасов стоял на часах у входа, с трехлинейкой, вытянувшись и поглядывая искоса на собиравшихся в коридоре строгих мужчин из охраны гостей. Внезапно появился высокий, молчаливый человек с внимательным, недобрым взглядом, который почему-то особенно ожесточенно посмотрел на Павла и вдруг выругался в полголоса. Он тут же по-хозяйски шагнул в приемную маршала, но Павел, оскорбленный его безаппеляционностью, хотя и почувствовавший душой глубоко встроенную в характер этого человека властность,

упрямо заступил ему дорогу.

– Извините, товарищ…, документы предъявите, пожалуйста, – чуть краснея, негромко, но достаточно решительно произнес Павел.

– Что! – брови высокого мужчины с возмущением взлетели на лоб.

Пожалуй, он бы приложил сержанта своей тяжелой рукой, но рост и очевидная сила Павла все же остановили его.

– Попрошу документы! – уже строже сказал Павел и на всякий случай чуть наклонил вперед винтовку с острым начищенным штыком.

В стороне собравшиеся охранники уже прибывших высоких гостей заговорщицки переглянулись, кто-то даже что-то ядовито шепнул. Высокий стрельнул в их сторону ненавидящим взглядом, и они тут же будто растворились в глубине длинного коридора.

– Где старший? – прошипел высокий.

– В приемной, товарищ…

– Вызвать сюда!

Павел сорвал тяжелую черную трубку (телефон без наборного диска висел на стене справа от тумбочки). Немедленно ответил Пантелеймонов.

– Тут вас спрашивают…срочно.

Дверь мгновенно растворилась от толчка изнутри, и на пороге застыл светловолосый Пантелеймонов. Его лицо мгновенно приобрело растерянный и даже как будто виноватый

вид, словно он увидел нечто исключительно опасное, отчего даже у таких, как он, душа уходила в пятки.

Высокий мужчина решительно выхватил из створа двери совершенно уже обескураженного Пантелеймонова и что-то нервно зашептал ему в самое ухо. Оба покосились на замершего с винтовкой Павла.

Саша Пантелеймонов испуганно кивнул и сверкнул на Павла беспокойными глазами. Он негромко, с хрипотцой приказал:

– Снимайся с поста, немедленно! Бегом в зал для банкетов, запри там официантов и носа не высовывай.

Павел было развернулся, но высокий мужчина схватил его крепкой, уверенной рукой за плечо и тут же ловко перехватил винтовку. Павел съежился, отступил, но Пантелеймонов сделал ему знак бровями, дескать, спокойно, подчиняйся тут беспрекословно.

Мужчина быстро сунул освободившуюся винтовку в распахнутую дверь, к внутренней стене, потом также энергично притянул к себе Павла за ремень и мгновенно вытянул у него из кобуры наган. Его он тут же впихнул себе в карман брюк.

– Отдам потом…, вот ему, – буркнул мужчина, показав глазами на Пантелеймонова, и грубо оттолкнул от себя Павла.

Тарасов, весь уже красный до ушей, сделал первый короткий шаг, чтобы потом быстро добраться до банкетного зала, но в это мгновение что-то вдруг дробно загрохотало по

коридору со стороны главной лестницы. Это было похоже на сорвавшиеся с горы камни, бившиеся о крупные валуны и стремившиеся поскорее добраться до самого дна ущелья. Павел слышал такое на китайской границе, когда кто-нибудь неосторожно задевал камешки на вершине глубокого оврага. Это пугало, заставляло втягивать голову в плечи и ждать тяжелого удара сверху или обсыпания породы под ногами. Подобное ощущение постигло его и теперь.

Хватая случайных встречных и немедленно заталкивая их в кабинеты, какие-то небывало решительные люди стремительно шли, даже почти бежали, по длинному коридору.

Раздался повелительный гортанный окрик:

– В кабинеты! Двери закрыть, стоять не двигаясь! Не дышать даже! Быстро! Быстро!

Пантелеймонов растерялся еще больше и забегал глазами вокруг себя. Высокий мужчина внезапно покрылся испариной, сильно побледнел. На Павла уже никто не смотрел.

Из темной глубины коридора, делавшего тут мягкий поворот, вынесло несколько серьезных, насупленных мужчин в черных пальто, без головных уборов. Руки у них были засунуты глубоко в карманы, глаза метали холодные стрелы в дальние и ближние углы коридора. И тут в третьем ли, в четвертом ли эшелоне этой, выжимавшей воздух, словно поршень, стремительной боевой группы показался очень невысокий пожилой человек в военного покроя легком пальто, в мягких нездешних сапогах, в сером аккуратном картузе,

со знакомыми усами. Глаза его властно и хмуро смотрели в спины тех, кто расчищал для него дорогу.

Павел потрясенно замер, приоткрыв от неожиданности рот. Его почему-то страшно испугала узнаваемость этих усов. Он столько раз представлял себе, как этот человек сидит у окошка в Кремле, посасывает свою трубочку и подшучивает над прохожими. Глупая, детская фантазия, которая сейчас показалась ему даже идиотичной, хотя бы потому, что тяжелый взгляд его темных глаз никак не вписывался в представления о его лукавом добродушии. То был сам товарищ Сталин. Роста он оказался маленького, весь невзрачный какой-то, с неровным, бугреватым серым лицом, а глаза у него действительно были такие, что шутки или даже простой улыбки от них, казалось, вовек не дождешься. И еще он был как будто чем-то раздражен. Разница между его внешним тщедушием и сокрушительной силой тяжелого взгляда была столь очевидна, что одно лишь это способно было вызвать паралич у всякого, кто имел возможность соотнести эти два взаимоисключающих впечатления, а, скорее, соединить их в образе одного человека.

Тарасов успел также подумать, что если бы не этот адский шум впереди него, не эти грубые толчки и нервные окрики, он был бы, возможно, добрее, не сердился бы так, как сейчас. Его, может быть, как раз и взвинчивали эти грубияны, невесть чего опасавшиеся в штабе Московского военного округа. А может быть, как раз это он их всех будоражил?

Сталин быстро, в окружении своей чрезвычайно энергичной охраны, приближался к приемной Семена Михайловича.

Каким образом тот узнал, что именно сейчас поздравлять его с пятидесяти шестилетием зайдет великой вождь, неизвестно, но вдруг уже прикрывшиеся до этого двойные двери в приемную толчком разлетелись изнутри, почти сбив с ног того строгого высокого мужчину. Он сильно пошатнулся и тут же изготовился к отражению, но так и замер в нелепой позе. С одной его стороны появился возбужденный маршал, а с другой – вождь с явным недовольством на изрытом оспинами сером лице.

Распахнув горячие свои объятия, маршал кинулся к бесценному гостю. За его спиной, мягко усмехаясь, стоял начавший уже потихонечку полнеть, тоже густо усатый, Лазарь Каганович. А чуть дальше, в приемной маршала, бодренько суетился седобородый, мелкий Калинин и вертелся повеселевший от уже выпитого низкорослый, усатенький же, коротко подстриженный, с посеребренными висками, маршал Ворошилов. За ними, сцепив руки под животом, раскачивался с пятки на носок Молотов, в темно-сером добротном костюме, холеный, в пенсне на полном носу и тоже с усиками, но аккуратно, по-европейски подстриженными. На его высокомерном лице застыла многозначительная усмешка.

Сталин сначала настороженно замер и потом с выражением неподотчетной брезгливости на лице отпрянул от налетевшего на него Семена Михайловича. Но тот, грозно рык-

нув на охранников, буквально насел на вождя и обхватил его страстными лапищами.

– Коба! Иосиф! Вот обрадовал! – неистовал Буденный, сжимая в объятиях этого невысокого, суховатого человека – Вот это подарок!

Двое этих усачей совсем не подходили друг другу внешне, настолько они были разными и по темпераменту, и по росту, и по фигуре, и по своему окончательному значению для истории. Но сейчас это было неважно для Павла, потому что тут, перед ним, скромным, безымянным солдатом, нежданно-негаданно собрались люди, о которых он всегда судил лишь как о богах, никогда не спускавшихся с небес к таким мелким человечишкам, как он. И главным среди сих непогрешимых богов был великий вождь.

Павел смотрел во все глаза на Сталина и повторял себе: «Запоминай, запоминай! Этого, наверное, никогда больше не будет в твоей жизни! Дождался! Дожил!»

И вдруг вождь словно услышал его мысли.

Хотя, скорее всего, ему просто надо было как-то прервать чрезмерные излияния нетрезвого уже маршала, потому он и обернулся к высокому стройному красноармейцу, который, к тому же, буквально поедал его глазами. Сталин грубо отстранил Буденного от себя и вдруг встал перед Павлом, строго заглянув ему прямо в глаза. Тот обмер, не в силах даже моргнуть.

– Кто такой? – резко спросил Сталин, как каркнул.

Павел вздрогнул и покраснел. Рот не открывался, голос провалился куда-то в похолодевший живот.

– Кто он такой? – Сталин повернул голову к Буденному.

– А? Этот? – Буденный задорно расхохотался, – Это – молодой Чапаев! Я его так зову… Гляди, Коба, как он похож!

– Глупости! На Василия Ивановича он ни капельки не похож. Почему молчит? – как обычно в минуты раздражения у Сталина еще резче, чем обычно, выбивался сочный кавказский акцент.

Буденный с раздражением уже повернулся к Павлу:

– Ну, чего замер! Тебя вождь спрашивает, дурак!

– Виноват…, виноват…, товарищ маршал… Товарищ Сталин… Сержант Тарасов… первый отдел первого управления НКВД. Охраняю…товарища маршала. Часовой я.

– А оружие где, часовой Тарасов? Потерял? – и Сталин неожиданно стал именно таким, каким ожидал увидеть его в кремлевском окне Павел. И он вдруг успокоился, кровь отхлынула от лица.

– Никак нет! – неожиданно по-фельдфебельски гаркнул Павел и сам же испугался своего голоса, – Забрали перед самым вашим приходом, товарищ Сталин.

– Кто забрал! – заорал Буденный и завращал белками глаз с красными воспаленными прожилками, – Кто эта гадина!?

Павел видел его таким только во время крайнего гнева, когда тот вышвыривал из кабинета командиров в высоких званиях, битых им же, с кровоподтеками, в расхристанных

мундирах, с грубо сорванными знаками различия с рукавов и с петлиц, без пуговиц, в лоскутах изодранных командирских гимнастерок и кителей. Такое бывало нередко и всегда сопровождалось молниями из его глаз, многоэтажным матом, щедро выплевываемым с мелкими капельками слюны из-под взъерошенных усищ.

Тут до такого дойти никак не могло, но всё же от маршала все, кроме Сталина и Калинина, в панике шарахнулись.

– Семен! – взвизгнул Калинин с переполошенным худым лицом. Он вдруг оказался вплотную за широченной спиной взбешенного Семена Михайловича и попытался даже ухватить его за рукав.

– Что Семен! Что Семен! – орал Буденный, – Это моя личная охрана! Кто смеет забирать у нее оружие! На клочки порву! Враги!

Павел подавленно молчал. Сталин же вдруг как будто оживился, в лице появилась заинтересованность, заменив скуку и раздражение. Ему точно нравилось все, что теперь происходит по его вине. Люди пришли в движение не только от того, что перед ними появился сам Сталин, а потому, что именно он коротким своим вмешательством в чужую жизнь, производимым, в том числе, и простым его появлением, способен разбудить в них взаимное соперничество, даже ненависть. Он знал, что всегда может погасить любую бурю, но и всегда может позволить ей разыграться до самых трагических последствий. В этом была его особенная сила, близкая к

тому, на что способно лишь божество. Павел же, маленький, зависимый человек, хоть и большого роста и богатырского сложения, был всего лишь инструментом в этой изощренной режиссерской игре единственного в своем роде небожителя.

Вдруг тот высокий мужчина, что отнял у Павла винтовку, сделал короткий шаг за дверь и тут же вынес оттуда одним движением трехлинейку с поблескивающим от света из окна приемной штыком. Он как можно скорее сунул ее прямо в руки к Павлу.

Сталин увидел это хитрыми своими, смеющимися теперь глазами и, подавив усмешку, вновь уставился на Павла:

– Никому не отдавайте личного оружия, товарищ часовой. Никогда! Даже самому товарищу Сталину. Врагов еще очень много! Революция должна уметь защищать себя. И своих маршалов тоже… Пока они этого достойны.

– Слушаюсь, товарищ Сталин! – Павел подбросил вверх подбородок и резко приставил винтовку прикладом к сапогу.

– А ты, Семен Михайлович, прекрати истерику! – Сталин уже строже перевел взгляд на Буденного, – а то я свой подарок обратно увезу.

Он, не оборачиваясь, протянул руку назад и тут же кто-то очень расторопный вложил в нее золоченую шашку в слепящих россыпью разноцветных камней ножнах, с желтыми, тяжелыми кистями на изящно изогнутой ручке, увитой искусной чеканкой.

– Вот, Семен, возьми из моих рук свое новое оружие! –

Сталин одной рукой протянул Буденному шашку, – Коня не дарю, а шашку прошу принять. По кавказским обычаям, если кунак доверяет своему кунаку кинжал, то он считает его братом. И тот должен быть готов за него в огонь и в воду. А я тебе даже шашку дарю! Ты готов за меня в огонь и в воду?

Буденный с отопорщенными усищами, в распахнувшемся кителе, все еще возбужденный, тяжело дышащий, вдруг рухнул на одно колено и обеими руками, сильными, умелыми, приспособленными к оружию, бережно, даже нежно, принял шашку. На глазах вскипели слезы, несомненно непритворные, потому что и тот, кто вручал подарок, и сам подарок были овеяны особой святостью для него. В таком искреннем порыве ни у кого не могло остаться ни малейших сомнений. Он привычным, сильным рывком оголил на четверть белое, сияющее лезвие и со страстью приложился к нему своими влажными, полными, красными, точно от просохшей крови, губами.

Сталин поощрительно рассмеялся, потом искоса, внимательно вновь взглянул на Павла, говоря тем самым, что вот так истинные воины ценят оружие и руку, даровавшую его, и, переступив через откляченную в сторону ногу маршала, не успевшего еще подняться с колена, неторопливо вошел в приемную, где все уже заранее замерли в самых почтительных позах. Двуактовый, хоть и очень скорый разыгранный им тут спектакль, с элементами умелой импровизации, был безупречен и в каждой своей части, и в общей смысло-

вой нагрузке, которая далеко выходила за пространство этого небольшого, почти «семейного» театра. Павел не умел это объяснить даже для себя самого, но каким-то особым чутьем уловил особое значение увиденного, и даже чуть струхнул от того, что сам стал поводом для этого.

«Мал человек, но велика вселенная, властно втягивающая его в свою бесконечность и делающая его, ничтожного, своим соучастником», – услышал он спустя очень много лет эту пафосную фразу в душной пивной на Пятницкой улице из уст случайного человека, пьяницы и назойливого фантазера. А услышав, сразу вспомнил именно эту, первую, встречу со Сталиным. Он никак не мог отделаться от мысли, что она и предрешила в дальнейшем его судьбу. Она дала ему запас особой энергии, которая может заряжать как добро, так и зло. В нем все это смешалось, обрело сначала изменчивую, хоть и упрямую форму долгой и суровой жизни, но под конец окаменело как могильная плита. Такое случается с людьми, но бывает и с целыми народами.

Не этот случай был первопричиной всех дальнейших событий, но с него вполне могло всё начаться, как с заглавной буквы начинается любое предложение. Однако сейчас Павел не мог заглянуть вперед; он лишь ощущал острое волнение, похожее на гордость человека, которому только что на грудь нацепили орден, невидимый, но оттого не менее ценный.

Буденный вскочил и, бесцеремонно растолкав охрану, придерживая высоко над головой золоченную шашку с уже

скрытым в ножнах лезвием, суетливо, как-то почти по-стариковски, заспешил за вождем.

Павел продолжал оцепенело стоять у двери, сжимая левой рукой холодное цевье винтовки. Кто-то дернул его за кобуру, Павел повернул голову и увидел строгие глаза того, кто отбирал у него оружие. Тот сунул в кобуру наган и захлопнул клапан. Потом пристально посмотрел Павлу в глаза и вдруг криво усмехнулся. Что было в той усмешке – угроза ли, либо что-то еще, было непонятно и от того страшно. Все же действительно мал человек, очень мал и беззащитен, даже если у него в руках трехлинейка со штыком и наган в кобуре. Как легко их забирают и как легко возвращают назад! Пожалуй, и золоченная шашка у больших маршалов может когда-нибудь повиснуть в музее, а не на его боку. Это огоньком стрельнуло у Павла в голове, но он на мгновение прикрыл глаза, чтобы отогнать то пока еще невнятное, что упрямо, а, главное, очень не вовремя лезло к нему в мысли.

Охрана мгновенно разбрелась по коридору, заняв точки наблюдения с двух ее сторон. Саша Пантелеймонов все еще тяжело дышал. Он тихо буркнул Павлу, не поднимая на него глаз:

– Свободен, Тарасов. Иди в казарму.

– А как же…!

– Я сказал, иди! – вдруг рявкнул он и закашлялся.

На них обоих со всех сторон устремились напряженные, строгие взгляды, кто-то даже сделал короткий предостерега-

ющий шаг в их сторону.

Это была первая встреча со Сталиным, которая, как это ни странно, должна была повториться почти с той же точностью, спустя много лет. Но между этими двумя встречами с Павлом произошло такое, чего, наверное, хватило бы на несколько жизней…

День рождения по старому стилю, а именно 25 апреля, Буденный встречал уже со своими старыми приятелями из Первой Конной, многие из которых уже давно сошли с дистанции, и еще с некоторыми друзьями детства, приехавшими из хутора Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского.

Нынешнее наименование местности было иным, но уроженцы станицы упрямо величались именно так, несмотря на очевидное недовольство очень многих пришлых в те места – не для того громили казачество, не для того жгли огнем, не для того поднимали вверх самого Буденного (впрочем, просто напросто не удерживали его внизу), чтобы округ попрежнему назывался в пьяных разговорах Областью Войска Донского. Но Буденный это не только терпел, но и даже потакал, потому что тем самым как будто исключал из своей биографии обвинение в том, что сам и поспособствовал уничтожению донского казачества как свободного класса. Эти его гости выглядели проще других и обычно раскрепощались лишь после щедрой выпивки. И то смотрелись жалко, наподобие бедных родственников в доме счастливчика.

Непретенциозных казюринцев и бывших сослуживцев из Первой Конной в тот день обыскивал до нитки уже не Павел, а сменный часовой Иван Турчинин. Буденный, крепко выпив, попытался двинуть ему в зубы за неуважение к близким его приятелям, но вовремя одумался, потому что даже на пьяную голову сообразил, что таким образом отобьет охоту у часовых нести службу как следует.

…Как-то уже в сентябре тридцать девятого года Павла поднял пораньше Женя Рукавишников и приказал собираться в путь к польской границе с Семеном Михайловичем и с группой высших военных чинов. Из охраны ехали Рукавишников, Пантелеймонов, еще один незнакомый чекист, специально приданный на эту поездку, а также часовые Колюшкин, Турчинин и Тарасов.

Сообщить Маше об отъезде Павел не успел, что его очень огорчило. Они ведь в ближайший выходной должны были впервые пойти в Большой театр на знаменитое «Лебединое озеро». Маша с великим трудом добыла билеты в своем управлении. Говорила, хоть и галерка, на самой верхотуре, но все же это – Большой театр. А туда попасть трудно.

Но она ведь человек военный, а значит, сама сообразит, куда исчез Павел. Ведь ей узнать об отъезде Буденного и его охраны ничего не стоит.

Раньше, правда, Павел с маршалом никуда не выезжал, а тут вдруг такая поездка!

В Европе уже началась война, которая несколько позже

назовут Второй мировой, уступив первый номер той войне, о которой говорили когда-то чуть ли не как о последней. Предстоял кровавый раздел Польши. С двух сторон, наподобие пресса, быстро сдвигались две мощные, угрюмые державы. С востока к границе уже ехали на последнюю рекогносцировку советские полководцы. Одного из маршалов скромно сопровождал и часовой сержант Павел Тарасов.

6. Первая молниеносная война

Это было время грозных пауз перед началом большой войны. Впрочем, паузами они были лишь для великих стран, а для тех государств, что были уложены бесстрастной историей между жестоким молотом и упрямой наковальней, война уже гремела вовсю.

Видеть судьбу маленького человека и не понимать, в какие жернова он угодил, значит, вообще ничего не понять в его жизни и любой его поступок – отнести к разряду случайных или порочных в силу его собственной порочности или глупости. Однако же как ясно, что даже самый бурный поток состоит из мелких капелек и брызг, а те – из невидимых глазу молекул, так и крупные исторические события насыщены мелкими, также, как и тот поток, невидимыми и безымянными человеческими жизнями, схожими по своей мизерности с невзрачными молекулами. Можно ли знать, как поведет себя молекула, не представляя, куда повлек ее безумный поток, состоящий из мириад таких же, как она частиц? А будет ли этот поток безумствовать, если мелкие частицы не наполнят его своей энергией? Эти вопросы не ждут ответов в силу их риторичности, а она есть родная сестра рутинной банальности. Рутинная же банальность есть банальность в квадрате. Вот до какой степени ответ яснее ясного.

Истории, которая случилась с Тарасовым и которая про-

тянулась на целую его жизнь, не понять, как и не понять его самого, если не бросить общего взгляда на все то, что стало для его жизни не столько фоном, сколько упрямым и жестоким поводырем.

Нет гигантского потока без малой капли, как нет мировой истории без маленького человека. Потому и нужно (нет! даже совершенно *необходимо*!) ясно представить себе то время, которое сделало его, Павла Тарасова, и понять, что без таких как он, маленьких, незаметных человечков, это время было бы другим, да и мы были бы теперь другими, если бы вообще *были*.

Тихие солдаты ведут большие войны, даже, когда участвуют в скромных боях «местного значения» – они их орудие, их мясо, их подневольная суть.

…1 сентября 1939 года немцы, обвинив поляков в нападении и в убийстве на их тогдашней границе нескольких военнослужащих вермахта и даже четырех с половиной десятков мирных жителей, безжалостной армадой устремились в оцепеневшую от ужаса Польшу.

Посол Великой Германии в Москве Шуленбург сразу же телеграфировал в Берлин, что Молотов считает преждевременным со стороны СССР поддержать раздел Польши. Хотя и не отказывался от идеи в целом.

Очень скоро Риббентроп, уже через три дня после нападения, отправил секретную телефонограмму своему визави – наркому иностранных дел Молотову с требованием все же

поддержать немцев, потому что это якобы в интересах русских и к тому же полностью соответствует их тайным московским соглашениям.

Посол Польши в Москве пан Гжибовский уже через два дня попросил Молотова предоставить западную и юго-западную территорию СССР для формирования, отправки и транзита эшелонов с грузами, необходимыми для обороны Польши. Но получил категорический отказ. Ему в самой сдержанной и холодной форме заявили, что все торговые соглашения СССР намерен выполнять, но предоставить транзит на поставку военных грузов не может, так как не желает быть втянутым в чужую войну.

Это решение было принято лично Сталиным. В разговоре с болгарином Георгием Димитровым, тогдашним главой Коминтерна, он назвал Польшу буржуазным фашистским государством, уничтожение которого целиком в интересах коммунистов всего мира.

Однако в дело вступали уже Белорусский Особый и Киевский Особый военные округа. Развертывались, под прикрытием учебных маневров, военные лагеря, стягивалась, хоть и почти с недельным опозданием бронетехника и дополнительные силы. К этим самым «дополнительным» силам была отнесена и 10-я армия, управляемая Московским военным округом, а теперь приданная Белорусскому Особому. К 15 сентября 1939 года СССР был уже почти готов переступить границу с Польшей.

Немцы активно продвигались вперед, и вскоре ими был взят Брест. Сопротивление в Польше оказывали, в основном, жандармские части, быстро создающееся, почти безоружное гражданское ополчение и разрозненные боевые группы регулярной польской армии. Политическое руководство страны, по слухам, бежало. В стране начиналась паника.

Польша, накануне вторжения, так или иначе, раздиралась внутренними противоречиями, в которых особую, роковую роль сыграл неизбывный польский национализм и гипертрофированная шовинистическая гордыня польской знати. С одной стороны, были сильны антисемитские настроения, совпадавшие с идеологией нацизма (сюда же были замешаны антирусские идеи, в основе которых были и кастовые, и имущественные, и просто злопамятные призывы, отдающие реваншизмом), а с другой – советская разведка, опиравшаяся на конспиративные органы Коминтерна, сумела организовать просоветское лобби в той особенной части польского общества, которое, в силу своих классовых и политических интересов, всегда желало воссоединения с СССР. Мнение остальной части населения (аполитичного по своей природе), зажатого со всех сторон спесивыми магнатами, высокомерными аристократами, бесноватыми шовинистами-антисемитами, влиятельными лидерами из откровенно уголовной среды и недалекими прокоммунистическими политиканами, никого особенно не интересовало.

Немцы, проанализировав ситуацию, решили, что, если

они сейчас не нейтрализуют коммунистические силы в Польше и не подберутся вплотную к границам СССР, чтобы спровоцировать и там националистическое сопротивление советской власти, то это рано или поздно сделают Советы с точностью наоборот.

Было уже предельно ясно, что немцы займут все рубежи у границ СССР. Велись переговоры с эмигрантскими кругами Украинской Организации Националистов о помощи немцами в создании на границах с СССР «Западноукраинского государства». В состав немецких дивизий были даже включены их вооруженные отряды.

Первые столкновения пограничных частей с немцами и украинскими националистами случились в районе Львова. Немцы захватывали территории, граничащие с СССР, каждый день, даже каждый час. Ждать было уже невозможно. Тянуть с началом операции – бессмысленно и опасно.

Случайные схватки с регулярными немецкими войсками могли привести к серьезным последствиям. Командиры Красной армии никак не могли понять, кто их враг, с кем следует вести перестрелку. Был даже случай, когда один лихой танкист, старший лейтенант, угнал из-под Львова немецкий средний танк Т-3, страшно ему понравившийся. Танкисты обедали недалеко от машины и почему-то не выключили двигателя. То ли прогревали его, то ли проверяли после небольшого ремонта? Заблудившийся, не очень трезвый старлей влез в машину и, ломая сельские плетни, рванул

на территорию, где располагалась 24-я танковая бригада, в которой он служил. Сначала было много радости, увеселительная поездка на немецком танке нескольких молодых командиров во главе с замполитом в соседнее село к аппетитным хохлушкам, но потом в то село прискакал вестовой из полевого штаба Киевского Особого округа, и лихого танкиста вместе с замполитом повязали. Скандал случился просто грандиозный. Разгневанные немцы приехали за своей угнанной машиной и грозились сжечь к чертовой матери всю 24-ю танковую бригаду. Съехались высокие переговорщики. Танк отдали, а старлея и замполита подвергли дисциплинарному аресту. Дело чуть не дошло до трибунала. Но кому-то из комбригов понравился этот наглец и того освободили. Зато замполита разжаловали в рядовые. Он был виноват в том, что и сам не знал, кто тут враг, а кто союзник. Врагом оказались поляки, а союзниками немцы.

Но дело так застаиваться не могло. Или мы атакуем Польшу и забираем свои куски, или будем мириться с немецкими вооруженными силами у себя под носом на расстоянии брошенного камня от нашего основного рубежа.

Наконец, было принято решение о переходе границы. Риббентроп требовал от Молотова соблюдать договоренности о захвате лишь тех территорий, которые подпадали под условленный на его секретных московских переговорах с Молотовым протекторат СССР.

Поляки все же сумели перегруппироваться и оказать

некоторое сопротивление сразу на двух направлениях – на немецком и на русском. Уже с середины сентября образовались два фронта: Белорусский и Украинский. Начались бои, короткие и жестокие. Поляки отступали, теряя людей, бросая технику. Русские, в пылу наступления, продвинулись дальше установленного сентябрьскими договоренностями западного рубежа, и теперь до 12 октября должны был вернуться на границы восточнее захваченных территорий.

Это вызвало недовольство среди командного состава армий, входивших в Украинский и в Белорусский фронты.

Однако нарком маршал Ворошилов и начальник Генерального штаба командарм 1 ранга Шапошников уже со 2 октября вели переговоры с представителями германского Генерального штаба об отводе своих войск к востоку.

Маршал Буденный к тому времени, во второй половине 1939-го года, уже был включен в состав Главного военного совета наркомата обороны, а с начала операции даже назначен заместителем наркома. В следующем году, ровно через год после польской кампании, он уже занимал пост первого заместителя.

Но сейчас, в первых числах сентября, он, отправляя 10-ю армию из своего округа в распоряжении Белорусского Особого и требуя включения в состав атакующих сил его любимой кавалерии, настоял на том, чтобы и самому поучаствовать в этой славной кампании. Он не мог позволить своему давнему сопернику Клименту Ворошилову снять все пенки с

того беспроигрышного дела. Сославшись на то, что является членом Главного военного совета, Семен Михайлович убедил Сталина отправить его со своим штабом, очень немногочисленным, на боевые позиции, и прежде всего, в командный пункт.

Сталин понимая, что ему необходимы противовесы в армейской среде, видел в соперничестве между двумя выжившими в репрессиях маршалами неплохой полигон для карьерных маневров. Он знал, что Буденный будет своевольничать и настаивать на кавалерийских прорывах в стан противника, а Ворошилов станет жаловаться, ныть по этому поводу, утверждая, что этот безумец так может доскакать аж до Варшавы.

Сталин запретил связывать с ним наркома напрямую, а велел держать в наркомате постоянный оперативный штаб Главного военного совета, с которого он потом спросит со всей свойственной ему строгостью, и именно с этим штабом соединять по телефонной и телеграфной связи Ворошилова. Ответственность за подготовку к окончательной демаркации границ уже не с Польшей, а с Германией, он возложил на готового ко всему Молотова.

Буденный горячился, срочно собираясь в поход. Это напоминало ему давно окончившуюся Гражданскую войну и бранное прошлое Первой Конной, когда, по его же словам, «ох и порубали же мы шляхту, а уж как разваливаливали шашками гонористых поганцев – от плеча долу да самого

седла!». Он уже забыл, что далеко не всегда его жестокая армия взбунтовавшейся красной нищеты выходила безусловной победительницей. Его дважды умудрялись почти полностью разбить небольшие кавалерийские и пехотные соединения белых, а еще и поляков, которым, по справедливости говоря, что русские белые, что русские красные, что казаки всех мастей и цветов – всё было поперек их расколоченной за предшествующие столетия дороги. Но обо всем этом никто не смел теперь вспоминать, и в первую очередь, о некоторых досадных военных неудачах Первой конной. Это было решительно вычеркнуто из истории, как несусветная ересь. А ведь ересь – это когда святую, сочную легенду стреножат худой правдой, как веревкой строптивого коня.

Начальник его штаба спешно собирал группу оперативного Управления, как и временную комендантскую команду, которые должны была сопровождать маршала в уже воюющую несколько дней армию. Конечно же, не спрашивая никого, формировался и специальный отряд охраны. Чекисты из штатного состава и двое постоянных часовых, среди которых был Павел Тарасов, срочно выехали специальным эшелоном в трех сцепленных пульмановских вагонах на запад страны. В первых двух вагонах ехали сам маршал, два адъютанта, три ординарца, связисты, охрана и часовые. В третьем вагоне кое-как разместились комендантская группа и управленцы из штаба. Еще в одном прицепленном общем вагоне теснились кавалеристы из постоянного сопровождения

маршала, а еще в трех, для перевозки специального живого груза, везли два десятка боевых коней из Ростовского конезавода самого Буденного, существовавшего еще с двадцатого года. В замыкающих вагонах везли провизию для людей, корм для лошадей и различную обслуга для тех и других. На специальную платформу были погружены два зачехленных черных линкольна, один с откинутым брезентовым верхом, второй – утепленный, глухой. Все это охранялось часовыми из штаба округа, боевым отделением железнодорожной части и небольшой группой чекистов, подчинявшихся напрямую своему ведомству, даже в обход личной охраны маршала.

Павел был поражен мгновенной, четкой по-военному, организации всей этой командировки. Вагоны, паровозы, платформы, словно только ждали приказа, чтобы зафыркать, задымить, засвистеть, окутаться горячим паром, звонко забиться металлическими суставами в сцепках, зверски заскрежетать тормозами и тут же, выстроившись в боевой «железнодорожный» порядок, с запасных, особо охраняемых путей Белорусского вокзала мощно потянуть на запад.

В первый же вечер, раскачиваясь на кривых, крепких ногах, уже выпивший коньяка маршал, в распахнутом кителе, в белой исподней рубахе, ввалился в дальнее купе, в котором бодрствовали двое его часовых Иван Турчинин и Павел Тарасов. Он, супясь, посмотрел на вскочивших красноармейцев и спросил строго:

– Молодой Чапаев, ты верхом ездишь?

– Так точно, – соврал Тарасов, который только в детстве два или три раза забирался на лошадей, да и то в последний раз высокая тонконогая коняга, недовольно фыркая, сбросила его прямо в кучу навоза. Тогда полдеревни хохотало до слез и всё спрашивали у Павла, когда лучше, на его опытный теперь уже взгляд наездника, коровий навоз – на вкус или на ощупь.

– Молодец! …У этого не спрашиваю…, – Буденный пьяно кивнул на Турчинина и, довольный, блеснул темными глазами, – Этот наш, казацких кровей, земляк. Он на коне мамкой понесен, на коне ею рожден и к нему приучен раньше, чем к мамкиной же сиське. Будет тебе добрый конь, молодой Чапаев! И амуниция геройская. Винтарь свой пехотный брось! Карабин возьмешь. Чтоб шашка непременно, наган, шпоры, ремни… Все как положено доброму казаку! Шинелька у тебя, я видел, подходящая. Наша шинелька. И папаху найди. А еще лучше…буденовку.

Семен Михайлович еще раз строго, по пьяному, осмотрел замерших на вытяжку часовых и, бурча что-то себе под нос, шатаясь от неспокойного хода эшелона и от собственной хмельной замаянности, исчез в узком коридоре.

Как только он вышел, Павел без сил свалился на жесткую полку и взялся за голову.

– Ты чего! – удивился повеселевший вдруг Турчинин, высокий, худой парень с лихим светлым чубом и веселыми ва-

сильковыми глазами.

– Беда, Ваня! Я ведь верхом три раза с грехом на пополам ездил, из коих один раз мордой в навоз. Как я ему это скажу!

– Мда! Дела! – протянул вдруг посерьезневший Турчинин, – Батя-то наездник славный! Сразу в галоп берет. Попробуй, отстань! Подъедет и нагайкой по заднице, а то и по роже!

– Так, может, мне сказать ему…, повиниться, что соврал…? – Павел расстроено поморщился.

– Сдурел! В шею выгонит! Как это он тебя сразу-то не спросил? Должно быть, отвлекся чем-то? А то ведь это первый вопрос у бати.

Павел вспомнил, чем отвлекся тогда «батя» – он топтал в гневе ногами какого-то военного.

– Так чего же делать-то!

– Чего, чего…, – задумчиво передразнил Турчинин, – За два-три дня я тебя к этому делу как-нибудь приспособлю. Конягу тебе подберем поспокойнее. Лучше, конечно, кобылу. Батя будет не очень-то доволен, но авось не до того ему теперь. А ты ее шенкелями, левым, правым… да уздечкой правь… Не шпорь только! А то не удержишь!

– Чего это…шенкеля…?

– Эх! Деревня! Коленями да щиколоткой управлять, значит! Слева надавил, справа… Покрепче, только. А дать шенкелей…так это еще говорят, когда пришпорить. Э-хе-хе! Пехота!

Павел обреченно опустил голову и, хмурясь, собрался на пост, в вагон маршала. Эшелон подходил к Минску. А там, в штабном вагоне маршала, должно было состояться короткое совещание с кем-то из командования Белорусского Особого военного округа.

Из Минска, после очень сумбурного и скорого совещания и нескольких срочных перекличек с наркоматом, эшелон вдруг развернули на юго-запад, и он, тревожно посвистывая, потянул на Украину, к западным ее границам. Кони в стойлах били копытами, возбужденно храпели. Приходилось дважды останавливаться, выгонять их с огромнейшим трудом на поле, а потом вновь погружать. Буденный заскочил без седла на любимого жеребца и, разогревая, молодцевато загарцевал на нем. Спустя пять минут он пустил его в галоп, потом перешел на рысь и вдруг осадил, подняв на дыбы, развернул, задал шенкелей и вновь сорвал в галоп. На его крупном усатом лице было написано такое наслаждение, какое может быть только у самых счастливых людей. Павлу показалось, что счастлив был и конь, хоть и ощерил он свою пенную пасть, выставив вперед длинные желтые зубищи.

Как-то раз Турчинин вывел за состав смирную кобылку, поставил под седло и помог взобраться на него Павлу. На удивление все прошло гладко. Павел даже попробовал, что значит, управлять шенкелями и даже раз ударил ее по бокам каблуками сапог. Кобылка встрепенулась и чуть было не понесла, но Павел упруго натянул повод и она, возмущенно за-

храпев, несколько раз подряд поднялась на дыбы, хоть и не очень высоко, а только как будто угрожая. Павел упрямо держался в седле и продолжал сжимать ее вздымающиеся, ёкающие бока голенями. Он был тяжел и силен. Кобыла быстро поняла природную силу этого человека и тут же потеряла всякий вкус к сопротивлению. Павел подъехал к улыбающемуся Турчинину и смущенно пожал плечами:

– Выходит чего-то, Вань! А?

– А как же! Казак! А говоришь, мордой в навоз!

– Так я мальцом же был. Слабоват еще, легок… Да там и конь был. Здоровенный! Не то, что эта.

– Еще парочку раз и хоть в атаку с батей! Молодец ты, Тарасов! Злой! Хоть и тихоня, вроде.

– Я не злой, Ваня! Я дело хочу делать.

Один из штабных, немолодой, суховатый на вид военный с короткой седой стрижкой, полушепотом доложил маршалу о том, что его любимый часовой, этот самый «молодой Чапаев», ездит неважнецки, хотя, вроде, и старается. Семен Михайлович хитро усмехнулся в усы, а доносчика зло хлестнул черным горячим взглядом. Тот посерел лицом и тут же испарился куда-то, кляня себя за донос: неудачные доносы маршалу, как правило, кончались для всякого такого доносчика мукой. Спустя несколько минут, Буденный, по обыкновению тяжело дыша, подкрался по коридору к служебному купе Тарасова, расположенному в самом дальнем конце штабного вагона. Павел в это время терпеливо сидел на уз-

кой скамье у вагонной перегородки в ожидании своей смены и от безделья поглядывал в окно.

На часах в другом конце вагона стоял Турчинин, через десять минут его дежурство должно было закончиться.

Семен Михайлович сначала осторожно, хитро щурясь, заглянул к Павлу и вдруг решительно шагнул к нему в купе. Павел вскинул изумленные глаза, попытался вскочить на ноги, но Буденный резко схватил его рукой за шею и больно сдавил горло.

– А говоришь, умеешь! Наврал, стало быть! – зашипел маршал ему прямо в лицо.

Павел вновь сделал отчаянную попытку подняться, но Буденный еще крепче придавил его голову к вагонной перегородке.

– Сидеть! Отвечай, почему маршалу наврал? Меня ведь ваши «батей» зовут, отцом, стало быть…, а разве отцу врать дозволено? Может, ты еще в чем врешь? Может, ты враг!? Тебя шпионить за мной приставили? Уж больно ты прыткий, как оказалось, а с виду, вроде, тихий? Отвечай!

– Никак нет, товарищ маршал Советского Союза… – краснея от боли и стыда, прохрипел Павел и судорожно вцепился руками в гладкие деревянные перила скамьи, чтобы не свалиться к ногам Семена Михайловича, а может быть, чтобы не дать ему случайно отпор. Буденный тяжело дышал перегаром и чесноком ему прямо в лицо. Глаза его еще больше потемнели, а зрачки, теперь почти незаметные, мелко подраги-

вали. Буденный также неожиданно, как начал, отпустил Павла, и во вдруг просветлевших его глаза мелькнула задорная улыбка.

– Это тебе, чтоб не врал наперед! А это…, это за то, что молодец! Не сознался, а сел верхом и поскакал. Казак!

С последними словами он погладил Павла по голове, ласково, почти нежно, чуть нажав на темя.

Буденный развернулся и, громко топая ногами, ушел к себе по коридору. Павел долго сидел без движения на скамье, опасаясь подняться, потому что его ноги мелко тряслись, а шею ломило так, будто ее только что вынули из петли. На этот раз он сменил Турчинина с опозданием (впервые за службу) на пять минут. Тот сначала недовольно буркнул что-то вроде «службу проспишь, казак!», но потом, разглядев у Павла на шее бордовые следы от крепких пальцев маршала, удивленно сдвинул на затылок фуражку.

– Ты с кем это, паря, трухался тута?

Павел раздраженно отвернулся:

– Ни с кем я не трухался! Так…задремал… Сам себя сдавил…

– Крепко ж, однако, спит казак, коли давит себя да не чует!

Турчинин недоверчиво ухмыльнулся и вдруг сообразил что-то, быстро оглянулся в сторону командного помещения, посерьезнел.

– Батя тебя? Эка ж он тебя…! Говори, батя?

Павел отмахнулся и грубо толкнул Турчинина в сторону коридора:

– Иди, Турчинин… Не мешай, прошу…

Уловив в его голосе капризную, как будто даже истеричную нотку, Турчинин пожал плечами и задумчиво ушел в ту же сторону, откуда только что появился Павел.

К этому разговору они больше никогда не возвращались.

Но с этого времени Павел уже был спокоен за себя в предстоящих маневрах под командованием маршала. Теперь он справится со всем, что выпадет на его солдатскую долю! А за «батю» вечно будет держаться, двумя руками! Да хоть всю жизнь у него на часах простоит! Ведь это как получилось? Сам пришел, лично, маршал, маршал! – к обыкновенному часовому, сам же лично и спросил, а не стал звать охрану. Тарасов же сперва наврал? Наврал! А батя всё понял, все осознал и решил по-отечески поучить! Вот он каков! Так и есть – отец! Подумаешь, глотку сдавил! Не убил же…

Недоволен был кавалерийскими опытами Тарасова и Турчинина один лишь Пантелеймонов. Он долго хмурился, потом, наконец, поздно вечером, высказался:

– Вы, Тарасов…и Турчинин, чекисты, а не кавалеристы. Вы в НКВД служите, а не в кавалерии, и поставлены на часы к маршалу Советского Союза, чтобы его охранять от разных вражеских происков… А не чтоб конкур тут делать! Я доложу командованию о таких делах. Кто будет ваши обязанности выполнять, если все вздумают скакать по полям?

Это услышал Рукавишников и засиял белозубой улыбкой. Он вдруг наотмашь хлопнул Пантелеймонова рукой по плечу, задержал ее там и, скалясь, заявил:

– Это ты, Сашка, потому грозишь, что сам только на хромой козе верховонить можешь, да и то, когда ее цыган за рога держит.

– Сам ты коза! – взбеленился Пантелеймонов и сбросил руку Рукавишникова с плеча.

– Я не коза, – очень вдруг серьезно ответил Рукавишников, – Я как раз тот самый цыган, которые твою козу держит.

Пантелеймонов зло сплюнул себе под ноги и ушел. Рукавишников подмигнул Тарасову с Турчининым и беззаботно махнул рукой:

– Смирится! Вот батя его самого посадит на коня, смирится.

– А он ведь наездник, – вспомнил вдруг Турчинин, – Сам видел. Они с маршалом скакали на ростовском конезаводе два года назад. Держится, однако, славно.

– Да это я так…про козу в шутку. Его маршал однажды заставил в летних лагерях под Винницей доить для него козу. Он доил, а я ее за рога держал. Смеху было! Ему потом дома ребята подарили маленькое такое седельцо со стременами. Это, говорят, тебе на тот случай, если придется с маршалом в атаку идти, а коня для тебя не найдется, только та коза… В Первую Конную тебя бы не взяли, а во Вторую Козью за милую душу! Думаете, он рассердился? Хохотал громче

других. У него это седельцо дома на видном месте лежит. А доносить Сашка не мастак! У него такие поганые слова из-за зубов не лезут. А вот козу подоить…, это – пожалуйста!

Павел и Иван рассмеялись. Рукавишников поднялся, чтобы уйти к себе и схватился уже было руками за полку – поезд сильно раскачивало.

– А вы и вправду из цыган? – вдруг серьезно спросил Павел.

Рукавишников сверкнул белыми, ровными, как крупный морской жемчуг, зубами.

– А что, похож?

– Похож.

– Значит, так тому и быть. Вот серьгу нацеплю и угоню коня…, а лучше, твою кобылку. Она смирненькая.

Он теперь уже рассмеялся в голос и тут же исчез за дверью купе.

– Он в самом деле цыган, – убедительно закивал Турчинин, – Верхом ездит без седла, да еще босиком. На коня запрыгивает, точно кот на плетень. Раз и тама! Батя его за то, между прочим, и отобрал к себе. Он у нас добрых наездников любит шибко страстно! Да ты не тушуйся, Паша! Пантелеймонов это так сказал…под настроение только. Чтоб показать себя. Начальник все-таки! А мы с тобой люди маленькие. Нам тише жить надо. Не балов'ать!

Ехали от Минска до Жлобинского узла, потом с курьерской скорости пролетели Мозырь, Коростень, Житомир, по-

стояли немного на Бердичевском и Казатинском узлах, затем ночевали в Виннице, на запасных путях, в тупике, а к обеду следующего дня доползли до Жмеринки. Но самая долгая остановка эшелона оказалась в Проскурове. Совсем рядом, в семидесяти километрах к западу уже была граница. А за ней польские Тернополь и Львов.

В Проскурове состоялось совещание с командованием 2-го кавалерийского корпуса и комбригом 24-й танковой бригады. Надымили, начадили, даже наорались друг на друга. Павел, стоя в дальнем конце коридора на часах, уловил в грозных воплях своего маршала нечто иное, нежели то, что он обыкновенно слышал в штабе Московского округа. Там он просто лютовал, бесчинствовал, бил и трепал своих командиров, скорее, от скуки и из казацкого форса, как говорил, посмеиваясь Турчинин. Тут же Семен Михайлович будто наслаждался общим ором, с удовольствием обменивался им с кавалеристами и даже позволил скромные возражения танковому комбригу. Технику маршал не любил, считая ее баловством и безделицей. То ли дело конь! Тут тебе и стать, и мощь, и природная сила! А скорость какова! Мигом сминаешь противника и летишь стрелой по его растерянным тылам. Ни тебе керосиновой вони, ни пустой пальбы, а то лупят в белый свет, как в копеечку! Дух войны! Казацкий дух! Шашка знает, какую голову рубить, а все потому, что рука знает, а рука знает, потому что казак знает, а казак знает, потому что его командир знает. Вот какая геройская получает-

ся цепочка, в начале которой голова командира, а в конце голова врага.

Мат стоял такой густоты, что можно было шашку на него повесить.

– Батя в своей тарелке. Молодость вспомнил. Готовится к большому марш-броску. Сейчас шашку вынет! – посмеивался Рукавишников.

– Готовь задницу, кавалерист, – хмуро пошучивал Саша Пантелеймонов, – До Львова на ней поскачешь.

– А точнее, до синевы! – зубоскалил Рукавишников.

Однако к вечеру вагоны дрогнули и паровоз дал истеричный, мощный свисток. Эшелон потянул к границе. Оказалось, что она давно уже пройдена и теперь штаб 24-й танковой бригады стоит в ближайшем пригороде Львова в Винниках. Оттуда и прибыл в Проскуров комбриг. До Винников должны были вот-вот добраться авторитетные представители наркома Ворошилова и туда же следует подтянуться также и самому Буденному.

Маршал распорядился остановить эшелон в Борщовичах и выставить боевое охранение. Он вышел из своего вагона в скрипучей темно-коричневой кожаной куртке, в красных драгунских кавалерийских бриджах с серебряными лампасами, весь перетянутый ремнями, портупеями, с шашкой на боку. Эфес ее был щедро украшен серебреными вензелями. В руках Буденный свирепо вертел короткой черной нагайкой.

– А ну, по коням! – гаркнул он.

Коней немедленно выгнали из вагонных стойл, подвели под седла.

Началась деловитая суета, больше все же похожая на легкую панику. Было ощущение, что мужчины готовятся к какой-то очень веселой игре – не то к разудалой охоте, не то к скачкам. Предупрежденный заранее о таком повороте дела и о том, что весь штаб и охрана должны сопровождать маршала, Павел навесил на бок револьвер, бросил в своем купе винтовку, но взял взамен ей короткий карабин. Его заранее откуда-то принес Рукавишников и сунул Павлу прямо в руки. Вот теперь он был более или менее похож на кавалериста, хоть шашки ему и не хватало. Но он был рад этому, потому что не знал, что с ней делать и как ее удержать во время скачки. Побоялся он приспособить к сапогам и шпоры. А вдруг со страху, случайно задаст этих самый шенкелей, пришпорит то есть, и лошадь понесет! Пропал тогда! Лучше разбиться, рассыпаться в пыль, чем потом маршалу на глаза попасть. Так что, он эти шпоры, которые ему дал Турчинин, бросил под свою полку и еще навалил на них вещевой мешок, чтобы не звенели лишний раз.

Кобыла нервно переступала под Павлом, беспокойно косясь на него, будто предчувствовала что-то недоброе. Оседлали коней и Турчинин, и Рукавишников, и Пантелеймонов. Сзади горячились кони личной «малой кавалерии» Буденного, как называли небольшой кавалерийский отряд выходцев

из казачьего рода, который Буденный часто брал с собой на далекие подмосковные выезды и даже в некоторые командировки. Они и ехали рядом с деревянными вагонами, в которых везли лошадей.

Эскадрон тронулся следом за маршалом в сторону Винников. Предстояло преодолеть километров пятнадцать-семнадцать по грунтовой, пыльной дороге. Скорость сразу взяли приличную. Лошади быстро залоснились маслом, в воздухе стоял крепкий дух лошадиного пота.

Буденный лихо держался в седле и все быстрее и быстрее погонял высокого, стройного коня. Павел едва поспевал за всеми. Турчинин время от времени отставал от своей шеренги и, подскакивая к Павлу сзади, хлестал нагайкой по крупу его кобылу.

– Держи строй! Строй держи! – все время орал кто-то старший из «малой кавалерии».

На Павла оборачивались и скалились. Чубатый казак в лихо заломленной кубанке поравнялся с ним и издевательски прищелкнул языком. Павел покосился на него, ожидая почти то, что услышал:

– Собака на заборе сидит ловчее тебя, казак.

– Собака умнее и тебя и меня, потому и не лезет на коня! – огрызнулся Павел и тут же сильно ударил пятками кобылу по бокам. Она ошеломленно рванула вперед, а Павел едва не завалился от неожиданности на спину. Сзади его почти догнал хохот чубатого.

Когда подъехали, наконец, к Винникам, к расположению танковой бригады, Павел уже чувствовал себя в седле уверенно и даже подкручивал ближе к маршалу. Тот раза два покосился на него и, довольный, усмехнулся в усищи. А один раз даже показал себе на шею ногайкой.

Остановились в трех богатых домах, брошенных многолюдными еврейскими семьями, которые сами не знали, кто им больше нужен – германцы или Советы. Поляки стращали и теми и другими, но так как тут наступали русские, им казалось, что это опаснее, потому что ближе. Ведь то, что ближе всегда опаснее, потому что то, что дальше, еще может и не придти, а это – уже здесь.

Буденный прикрикнул на своих кавалеристов, показав упругий, круглый кулак, потом посмотрел на Рукавишникова и на Павла, оказавшихся ближе всех к нему:

– Присматривайте за этими разбойниками, чтобы никакого мародерства. Первого, кого поймаю, высеку перед строем, второго лично расстреляю. Чтоб иголки не утащили, черти! Знаю я их!

Таскали, однако, не только иголки, но и серебренную посуду, столовые приборы, отрезы шелка и драпа. Даже семь дамских шляп и два черных цилиндра утащили и затолкали в подсумки. Никого не выпороли, но крику было много.

Уже в первых числах октября 140-я стрелковая и 14-я кавалерийская дивизии вблизи Билгорая атаковала польскую кавалерийскую группу под командованием полковника Та-

деуша Зеленовского. Для Павла это был первый настоящий бой. Туда его втравил все тот же цыган Женька Рукавишников, когда на пост около маршала заступили Пантелеймонов и Турчинин. Как оказались в Билгорае Тарасов и Рукавишников, не понятно. Во всяком случае, об этом никто никогда не говорил, потому что никто их туда и не посылал. Все же это было глубоко внутри польской территории, западнее Львова аж на 100 километров. Туда, до кавалерийской дивизии, добрались не верхами, а на конфискованном у поляков паккарде. Спустя много лет, поздней весной сорок пятого года, Тарасов почти также конфискует у немецкого полковника небольшой бронированный вездеходик и вспомнит тогда о том польском паккарде. В жизни, оказывается, многое повторяется, на том и зиждется человеческий опыт – и тот, что ведет к победе, и тот, что сближает с бедой.

Ехали весь вечер и почти всю ночь. За рулем сидел молчаливый красноармеец из танковой бригады, а, кроме Рукавишникова и Тарасова, там еще был нервный комвзвода из 140-й стрелковой дивизии, который накануне привез в штаб к Буденному пакет с важным докладом. Рукавишников затолкал в машину Павла и, подмигнув, шепнул:

– Вот, где сейчас дела будут! Поглядишь, что значит кавалерийская атака! Коней у них возьмем… Сдюжишь?

Павел струсил, и не столько из-за того, что боялся боя, хотя и не знал его, особенно, кавалерийский, сколько из-за того, что по существу бросает пост и не сможет завтра поме-

нять Турчинина. Как на это батя посмотрит? А Турчинин? Он осторожно спросил об этом Женьку. Тот самодовольно ухмыльнулся:

– Хорошо посмотрит! Нагайкой втянет, а потом, может, даже расцелует! А нет, так расстреляет! На то и война! А что касаемо Турчинина, так это моя забота! Не дрейфь!

Простота, с которой все это было сказано, почему-то успокоила Тарасова, и он, отчаянно махнув рукой, плюхнулся на задний пружинный диван паккарда.

Павлу на этот раз достался норовистый конь, из седла которого он чуть было не вылетел с первого же его толчка. Припустили с места рысью и все наращивали ход. Павел вцепился в гриву, лег на низко припущенную шею и дышал вздутыми от страха ноздрями также взволнованно, как его конь. Рукавишников летел рядом на огромном жеребце и с беспокойством поглядывал на Павла. Но вскоре Тарасов ухватил дробный ритм летящего в ближайший лес по узкой полевой полосе отряда, и глаза его загорелись разбойничьей отвагой. Всё получалось не хуже, чем у других, хотя многие замечали его неопытность и, похоже, переглядывались с усмешками и подмигиваниями.

Первый бой ахнул горячим, жужжащим залпом с опушки леса. Пули разорвали воздух у самого уха. Павел вскинул карабин и, не целясь, выстрелил прямо над ушами коня. Того шарахнуло от неожиданного звука в сторону. Павел едва не вылетел из седла во второй раз за короткую скачку.

– Не пали над челкой! – бешено заорал Рукавшников, – Его и себя угробишь!

Во второй раз Павел умудрился выпрямиться в седле и пальнуть высоко над маленькой, изящной головой коня. Тот не то вспомнил с учений этот звук, не то смирился с ним сейчас в горячке, но лишь припустил быстрее. Кто-то истошно заорал «Даешь!» и отряд вихрем ворвался в лес, сметая польских конников, едва успевших вернуться в седла, так как оборонялись они спешившись. Трое остались неподвижно лежать под ногами своих мечущихся, храпящих коней. Павел с ужасом сообразил, что кого-то из них, должно быть, убил он. Но отбросив все упреки своей еще непривычной к военной жестокости совести, он больно ударил коня по бокам каблуками сапог и тот, взбешенный, заливающийся пеной из оскаленной пасти, понес его через лес, через высокие желтеющие уже кусты. Ветки хлестко били по лицу, глубокие, кровоточащие царапины перечеркнули лоб и щеки.

Поляки на этот раз ушли.

Рукавишников с удивлением поглядывал на раскрасневшегося, возбужденного погоней Павла. Но ничего не говорил.

Потом, к вечеру, была еще одна такая же бешеная атака, короткая погоня и пальба почти в кромешной тьме. Только вспыхивали короткой жизнью горячие розы выстрелов и больно отбивал в плечо упругий приклад. А ночью, бросив в эскадроне коней, оба вскочили в тот же паккард и их повез-

ли назад, к Львову, потом вокруг Львова, на восточную его окраину, где, должно быть, их уже хватились.

Приехали часам к восьми утра, усталые, чумазые.

– Ты, что! – орал на Рукавишникова взбешенный Пантелеймонов, – Это тебе, что барская охота! Под трибунал захотел! И Тарасова с собой прихватишь! Мальчишки!

Буденный об этом узнал от кого-то из своих штатных доносчиков, и до Павла дошло, что тот хмуро приказал отправить обоих под арест на трое суток сразу по возвращении в Москву. А пока, мол, не трогать. Позже, в Москве маршал сделал вид, что все забыл. Однако все знали его привычку носить в памяти даже мелкие события и ждали когда-нибудь их выплеска. Возможно, то, что потом случилось с Павлом в сорок третьем году в кабинете Буденного, то, что кардинально изменило всю его судьбу, и было, своего рода, выплеском того разбойничьего польского рейда. Но до этого еще было очень и очень далеко.

Был еще один короткий бой, правда, пеший. Застали както на окраине Львова немногочисленный жандармский отряд во главе с пожилым ротмистром и тут же открыли по отряду беспорядочную пальбу. На этот раз Павел, лежа у дороги за мятой металлической бочкой целился в квадратные фуражечки – конфедератки или, как из называли поляки, рогатывки. Попал или нет, так и не узнал, но пятеро жандармов все же остались лежать на обочине. Их стащили в овраг и на скорую руку захоронили.

К утру пришло известие, что кавалеристы все же нагнали и разоружили у Билгорая крупный отряд полковника Зеленовского. В плен было взято более двенадцати тысяч конников и огромное количество стрелкового оружия, в основном, английского образца. Захватили и орудия, и снаряды, и прочее военное имущество. Особенно ценились легкие седла и сбруя, а также удобнейшие кавалерийские сапоги особого фасона.

На этом бои затихли. И пошли осенние нудные дожди.

Однако тут как раз подоспели скандальные разборы нарушений и разного рода «пиратств», как их назвал кто-то в штабе маршала.

К Буденному привезли курсанта из зенитного эскадрона кавалерийской группы с обвинением в мародерстве у старой учительницы села Добровляны не то Жидочевского, не то Стрыйского повята, как в тех польских землях назывались уезды. Курсант отобрал у нее часы и, кажется, велосипед. Буденный даже не взглянул в его сторону.

– Под трибунал, – буркнул он и углубился в какие-то бумаги.

Парень истерично всхлипнул, попытался грохнуться на колени перед маршалом, но его подхватили за подмышки и утащили. А рано утром, в мелкий, холодный дождик, по приговору полевого суда расстреляли.

Это произвело на Павла ошеломляющее впечатление. Он не спал следующую ночь, вспоминая отчаянные, отупевшие

от ужаса глаза курсанта, когда того волокли со связанными руками от панского дома, где заседал скорый суд, в школьный подвал двое энкаведешников. Павел слышал ранним утром два коротких выстрелов за оврагом и побледнел. Его даже затошнило.

Рассказывали, что к Буденному с великим трудом пробилась та учительница и стала горячо уверять его на смешанном русском и польском, что часы были плохие, старые, а велосипед вообще нужно было выбросить, потому что на нем не держалась цепь, что бы с ней ни делали. Она умоляла простить мальчишку, клялась, что не имеет теперь уже никаких претензий. Еще говорила, что у нее таких «хлопаков», как этот, два десятка, и все страшные хулиганы. Не расстреливать же, дескать, их всех за это! Ну, мол, покататься захотел, ну, часы понравились…, и что же! Его же мать дома ждет, пусть пан военный будет «добросердным» к таким детям и к их матерям.

Буденный хмуро позвал к себе дежурного адъютанта и приказал срочно выяснить, что стало с курсантом. Через несколько минут тот вернулся и что-то шепнул маршалу. Семен Михайлович забегал глазами, тяжело вздохнул и, уже не глядя на старую полячку, буркнул:

– Поздно, пани! В расход его вывели… «хлопака» этого. Поздно! У нас тут армия, а не ваша школа. Тут быстро всё… Мародерствовать никому не велено.

Полячка схватилась за седую аккуратную голову длинны-

ми, худыми пальцами и, подвывая на высокой, старческой ноте, пригнулась к коленям.

– Напоите чаем женщину! Верните ей всё! – нервничая, крикнул Буденный, – Некогда мне тут! Да увидите же ее кто-нибудь!

Спустя годы, Павел с тяжестью в душе вспомнил того курсанта. Тогда он уже сам был обвинен полевым судом в предательстве и подведен к своей последней черте. Его спасло чудо. Но та старая учительница чудом для юного курсанта стать не успела. Она стала для него последним кошмаром.

Потом был еще один скандал. Кавалеристы 14-ой дивизии разоружили польских солдат численностью в 150 штыков, двадцать два офицера и шестнадцать жандармов. Солдат немедленно распустили по домам, а офицеров и жандармов заперли в том же подвале, где за три дня до них ждал своей участи тот несчастный курсант. Вечером, когда уже стало совсем темно, офицеры и жандармы убили рабочего-поляка, вызвавшегося охранять захваченное оружие, и открыли огонь из окон школы. Восстание было подавлено очень быстро. Батальонный комиссар прискакал в 14-ю кавалерийскую дивизию и срочно собрал митинг. Он орал, брызгая слюной, что поляки, мол, фашисты, что их надо жечь и убивать без всякой жалости. Они ведь застрелили троих наших и ранили пятерых.

– Сволочи они! – орал красный как рак батальонный комиссар, – их уничтожать надо, а не в плен брать!

Уже на следующий день четверо нетрезвых кавалеристов под впечатлением ночной истерики комиссара совершили рейд в село, в котором жили по большей части крестьяне немецкого происхождения, обнаружили там арестованных новой польской милицией нескольких офицеров-поляков, отняли их силой и ту же расстреляли.

Это дошло до командования, и Буденный, уже перед самым возвращением с эшелоном в Москву, приказал судить их. Им в тот же день дали каждому по нескольку лет лагерей, кому-то больше, кому-то меньше, в зависимости от меры участия в том самочинном расстреле.

А в самый день отъезда политрук-кавалерист из 131-го полка пустил в расход семью львовского помещика – самолично грохнул шестерых человек прямо во дворе их родового гнезда.

– Пулю ему, гаду! – заорал взбешенный Буденный.

В тот момент, когда отряд маршала вскачь уже добрался до эшелона и спешно грузился, политрука оттащили от стола трибунала и тут же, в длинном коридоре, специально выделенный для этого младший лейтенант из тыловой охраны НКВД раздробил револьверной пулей ему затылок.

Но в Москву не поехали. Эшелон вернулся чуть назад, на одном из разъездов поменял путь и через четыре часа вошел на замусоренную, сиротливую платформу Львовского вокзала. А утром все уже вымытые, вычищенные, верхом, при оружии и под знаменем, разрезая серо-зеленую толпу пехотин-

цев, запрудивших город, парадом прошли по центру Львова. Впереди под знаменем ехал маршал и топорщил свои геройские усы. Глаза его при этом стреляли веселыми чертями в разные стороны.

Вечером состоялся банкет для высшего и среднего командного состава, на который Павел не был приглашен даже в качестве охраны.

– Это тебе, казак, заместо губы! – мстительно бросил Пантелеймонов, – Нашел бы негодяя Рукавишникова сейчас, рядом бы с тобой посадил тут. Где шляется, хитрый цыган! Ну, вернемся домой, я ему такую кавалерийскую атаку покажу, своих не узнает!

Павел не обиделся. Он заснул, как провалился, на своей полке и очнулся в середине ночи только, когда с банкета стали сыпать в вагоны пьяные командиры. Двое принялись на радостях палить в воздух прямо под окнами эшелона, но их тут же разоружила охрана, а одному, самому строптивому, из тех самых казаков, даже подбили глаз.

Эшелон дернулся всеми своими сочленениями, вздрогнул и потянул домой, на этот раз через Киев. Рукавишников сам нашелся. Он ехал в своем купе, мечтательно чему-то улыбаясь и неторопливо рассуждая о том, что полячки слаще евреек, но и еврейки, иной раз, могут дать форы некоторым полячкам. Одни лишь цыганки, мол, вне всякой, конкуренции! Но об этом положено знать только цыганам. Это он уже заявил чрезмерно строгим, даже грозным голосом.

Пантелеймонов только качал головой и осуждающе вздыхал. Павел молча усмехался и отворачивался к окну, залитому дождем.

Вскоре он уже стоял «на часах» в штабном вагоне маршала. Там было необычно тихо. Утомленные ночной пирушкой, все спали мертвым сном. Колесные пары отбивали мерную дробь сначала по вновь приобретенной польской территории, а потом по всё распухающей новыми и новыми землями Украине.

Польский поход тем и окончился. Но впереди было одно очень важное в жизни Павла событие – еще одна короткая и кровопролитная война. В декабре развернулась нудная, холодная финская кампания.

Накануне пришло еще одно письмо из дома. Писала та же сестра Дарья о матери.

«Здравствуйте, Павел Иванович! Примите сердечный привет из родной деревни Лыкино от сестер ваших и матери Пелагеи Николаевны Тарасовой, а по батюшке, от рождения, Румяновой. Сестра Мария и сестра Клавдия померли в прошлом месяце от болезни, которую многоуважаемый доктор Виктор Меркулович Клейменов, из станции Прудова Головня, с амбулатории, назвал ученым словом «корь». А мы вот думаем, что это все от заразы холеры, которая тут многих уже прибрала. Больна теперь и сестра ваша Серафима. Тоже лежит в жару. Мать говорит, все это истинный божий промысел. Даже не плачет совсем. Она у нас, дорогой брат

Павел Иванович, совсем на голову стала плоха. Вас забыла совсем. Я тут намедни ей говорю о вас лично, а она глядит на меня как на чужую и только малоумно шамкает. Доктор Виктор Меркулович говорит, что это у ней от чистой воды в голове. Скопилось слишком много и не выходит. А только мешает ей думать и вспоминать вас. Говорит, надо положить в больницу, в Тамбове, но мы не дали, потому что мать стала кричать на всех и драться. Вы ежели прибудете к нам погостить, ее вовсе не узнаете. Высохла, как старый плетень вся, волосы теперь у ней редкие, а ноги и руки стали кривые. Ходит, но плохо, качается в стороны, того гляди, свалится об земь. А руки ничегошеньки более не держат.

С другой стороны, у нас все хорошо. Не забывают нас ни родственники, ни даже Советская власть, чтоб ей сто лет жить и цвесть. Так и написано на клубе – «Советской власти жить сто лет и цвесть алым стягом». Что такое «алый стяг» я доподлинно не знаю, но цвесть ей надобно очень непременно. Приедете ли вы, дорогой брат Павел Иванович? А то мать вас уж всамоделешно забывать стала. Она что-то совсем старая теперь, хоть и лет ей немного, а даже очень мало. Кланяйтесь лично товарищу Сталину и другим товарищам, которые вас все, конечно, знают и уважают, как геройского бойца за советскую власть и за то, чтоб ей долго цвесть.

И еще, во последних строках этой сердечной весточки из вашей родной деревни Лыкино, вам, дорогой брат Павел Иванович, спасибо за денежки и за две посылки с банками.

Мы их поставили в старый буфет и ждем, когда можно будет открыть и всем съесть с радостью. Может, когда вы изволите лично прибыть? А так нам еды вполне всем хватает, нас ведь теперь стало мало, а мать совсем почти не ест. Куры у нас, двенадцать голов, есть свой хряк, коза. Коровы на откорм из колхоза не брали, потому как при нас нет мужика, чтобы накосить на дальнем сенокосе и нет мочи, как то сено вывезти назад, потому нет телеги и лошади. Телега наша рассохлася совсем, у ней колесо забрали, а кто не ведомо.

Сызнова кланяюсь вам, дорогой наш брат Павел Иванович, ваша единоутробная сестра Дарья Ивановна Тарасова.»

Павел был крайне обескуражен этим письмом. Он трижды его перечел, пытаясь понять истинное настроение сестры: упрекает ли она его или действительно не понимает, что происходит с ней, с матерью, с сестрами, с ним и вообще со всеми. Он дважды уже было подходил к двери, за которой сидел Пантелеймонов, но так и нет решился попросить об отпуске. Тут ведь надо было объяснять, каяться, что не был у матери и сестер с тридцать пятого года и еще виниться за то, что и деньги, и продукты шлет им тайком во время увольнений. Как это объяснить все?

Но в действительности он не хотел и думать о Лыкино, а уж поехать туда, к матери, потерявший разум, к сестрам, которых он всегда сторонился, когда даже они все вместе жили, и речи быть не могло.

А тут весьма кстати затеялась еще одна война.

7. Вторая молниеносная война

Тарасов очень недолго пробыл в Москве, ежедневно стоя на часах у входа в приемную маршала Буденного, у тумбочки и телефона, с трехлинейкой и с примкнутым острым штыком.

Война с финнами началась 30 ноября 1939 года и окончилась 13 марта 1940 года подписанием Московского мирного договора. По существу, это была, своего рода, кровавая увертюра перед большой войной со вчерашним союзником, с которым впопыхах делили буржуазную Польшу. Сейчас иной раз говорят о том, что якобы финны, понимая неизбежность войны СССР с Германией, спешили сохранить за собой всю восточную Карелию и надежно закрепиться на Карельском перешейке, и потому, дескать, спровоцировали войну. Мол, с чего они тогда как раз перед ней закончили сооружать непреодолимую линию Маннергейма? Однако именно СССР была исключена из Лиги Наций в декабре 1939 года за то, что развязал захватническую войну, не включенную в дальнейшем в сражения Второй Мировой.

Представить себе события, разворачивавшиеся вокруг СССР в тот очень урожайный на войны и конфликты год, невозможно, если не вспомнить что, кроме польского раздела, случился также и пограничный конфликт на Дальнем Востоке – в Халхин-Голе, с японцами. Его назвали «необъ-

явленной» войной. Случилось это весной 1939 года.

Павел очень переживал по тому поводу, что он, бывший пограничник Забайкальского военного округа, не попал на те военные действия. А вот тот человек, который вывез его в Москву, его однофамилец, бывший начальник штаба Герман Тарасов, оторвался от учебы в академии и в составе тактической группы пограничных войск принял участие в достаточно коротких, но от того не менее кровопролитных боях в Маньчжурии. Павел даже пытался разыскать его через Машу Кастальскую, но безрезультатно. Эта короткая война благополучно прошла без него.

Возможно, вся его личная история тогда бы и закончилась. И не было бы роковой встречи с человеком, приметой которого стала яркая родинка размером с горошину на виске, во время Второй Мировой войны, и не случились бы другие важные встречи, и не принял бы он участия в событиях, которые позволили его скромной жизни влиться в жизни больших и заметных людей. Судьба Павла сложилась бы както иначе. А может быть, он бы погиб в каком-нибудь неизвестном бою в Маньчжурии? Тогда мы, не видя уже перед собой этого человека, не узнали бы о других, тайных и явных, сражениях, которые стали частью его судьбы.

Но провидение берегло его совсем для другого. И все, что с ним происходило в эти годы, было лишь вступительным аккордом его особенной судьбы.

Таким «аккордом» оказалась и финская бойня, которая

окончилась тем, что к СССР отошло одиннадцать процентов финской территории и город-крепость Выборг.

С одной стороны стоял коммунистический вождь Иосиф Сталин, а с другой – в прошлом генерал-лейтенант Российского императорского генерального штаба, генерал от кавалерии Финляндской армии, фельдмаршал, регент королевства Финляндии (после ее отделения от России в 1918 году), а позже, с августа 44-го по март 46-го года – президент барон Карл Густав Эмиль Маннергейм.

В этот год, а именно в августе 1939-го, барон Маннергейм, в свое время, окончивший с отличием Николаевское кавалерийское училище, завершил выстраивание своей знаменитой линии обороны, на которой потом сложили головы многие красноармейцы. Барон начинал свой путь с корнета, когда-то служил в Польше, в Калише, в 15-м драгунском Александрийском полку.

Военная судьба Маннергейма интересна еще и тем, что он по существу был близок по своему кавалерийскому прошлому с Семеном Буденным. Это тот нередкий случай, когда поначалу рядовой конник стремится повторить героический аллюр своего высокомерного командира, а когда добирается до некоторых высот, начинает болезненно ревновать к легкой, как ему кажется, его славе. Что касается командира, то самый больной укол с его стороны – это тот, о котором он и не подозревает, потому что не замечает скромного конника ни в строю за собой, ни на лихом коне впереди строя, но

всегда позади прямой и гордой спины командира.

Маленький человек, тихий солдат Павел Тарасов, служивший у Буденного в охране, а потом принявший самое скромное участие в финской кампании, казалось бы, находился в стороне от тех заметных военных биографий. Но именно в этом и состоит главное лукавство истории. Никто ведь не узнает о существовании маленькой щепки, если топор не срубит большого дерева, а эта щепка не отлетит в сторону и не поранит случайно кого-нибудь. Вот тогда ее заметят.

Исторические связи только на первый взгляд имеют лишь крупные узлы, но при внимательном, детальном рассмотрении, обнаруживаются тысячи мелких волокон и узелков, которые надежно скрепляют события, вплетаясь в их общую канву. Впрочем, к этому мы еще вернемся, когда в судьбе Павла Тарасова произойдут серьезные изменения, и когда он станет свидетелем и участником как маленьких, так и заметных трагедий.

Есть множество серьезных научных трудов и крупных литературных произведений, посвященных большим именам, но почти не существует исследований, направленных на изучение тех самых крошечных узелков, которые по-существу и составляют общую ткань истории. Это не глобальные судьбы народов и их вождей, это – маленькие драмы маленьких людей, это – тихие солдаты известных и неизвестных сражений. Это – скромные, но и незаменимые серые нити основы в искусной фактуре гобелена. Иной раз так называемая цвет-

ная «уточная» нить полностью скрывает нити основы и демонстрирует великолепный рисунок. Но есть такие мастера, такие художники, которые нити основы намеренно оставляют зримыми, зацепляя за них тончайшую виртуозную пряжу. Вытяни такую нить и придется отдавать гобелен на реставрацию. Он утеряет свою истинную ценность.

Поэтому не следует относиться пренебрежительно к скромным участникам или просто молчаливым свидетелям больших и известных событий. Это лишь навредит общей ткани.

…Маннергейм в конце девятнадцатого века служил кавалергардом, он даже сыграл роль младшего ассистента на коронации Николая Второго, приведшего потом дела в России в такое состояние, что и сам был вынужден отречься от престола, впустить во власть большевиков во главе с Лениным, а затем потерять не только Польшу, но и Финляндию, из которой происходил барон Маннергейм. Говорят, что на приеме в Кремлевском дворце в честь офицеров кавалергардского полка, то есть по существу элитного полка охраны царской особы и его семьи, барон удостоился беседы Его величества и с тех пор, как он говорил, обрел «своего императора». Если бы только император знал тогда, что малозаметный «младший ассистент» на его коронации разыграет в дальнейшем такую долгую историческую партию, которая на века останется в мировой истории, как пример последовательности и государственного ума в основании и сохранении независи-

мости части территории его огромной империи.

Он был специалистом по боевым лошадям, входил в особую придворную конюшенную часть в качестве помощника командира бригады и даже отвечал за комплектацию с конных заводов полковых конюшен лошадьми лучших пород. Маннергейм принял участие в японской кампании в 1905 году, хорошо знал Маньчжурию, участвовал в тяжелых рейдах. Потом, в 1906-м году побывал в Китайской военной экспедиции, а в 1914-м уже воевал на западном фронте, в Люблине, против австрийцев, и, будучи командиром бригады наголову разбил их в одном из первых же боев. 4-я армия, в состав которой входила боевая кавалерийская бригада барона Маннергейма, была сильнейшей в русской императорской армии. Барон был награжден золотым Георгиевским оружием, а в дальнейшем, во время Первой Мировой, на его грудь повесили многие боевые ордена с бантами и без таковых.

Буденный, известный своими полным георгиевским иконостасом, будучи старшим унтер-офицером кавалерии и лучшим наездником полка, а затем и корпуса, видел в ту войну Маннергейма со стороны и был искренне восхищен им.

Однако тогда он был всего лишь низшим чином в казачьем войске, что не давало возможности не только помериться силами со знатным наездником, но даже просто хотя бы перекинуться с ним словом.

И вот теперь, когда фельдмаршал Маннергейм уже стоял по другую сторону поля боя и когда оба могли посоперни-

чать хотя бы в количествах боевых наград, самолюбивый казак, а ныне маршал, со свойственной ему горячностью рвался в бой.

То были люди разного масштаба, однако беспокойная военная жизнь сводила их то в одном лагере, то разводила по разным. Поэтому, когда польская эпопея уже была шумно отпразднована, а похмельные головы отболели, очень вовремя, по мнению Буденного, возникла финская кампания. Он кинулся сначала к Ворошилову, а затем к самому Сталину.

– Пустите к нему! – кипятился Буденный, сверкая глазами, – дайте дотянуться до предателя! Он кавалерист и я кавалерист! Посмотрим, чья шашка острее!

– Там не шашки решат дело, – покачивал крупной головой Сталин, – там другая война, Семен.

И все же Буденный опять сформировал свой штаб, подобным же образом, как тогда в польской кампании, собрал эшелон и двинулся к западным границам. Шли с ним те же. Весело было и хорошо. Вспоминали распятую с двух сторон Польшу, даже кто-то ненароком припомнил боевой рейд Павла и Рукавишникова, смеялись, фантазировали, перемигивались.

В своих стойлах ехали кони, среди которых была и кобыла Павла. Он даже на одной из перегонных станций заглядывал к ней и сунул в заиндевелую горячую пасть, ощетиненную льдинками на длинных ворсинках, горбушку хлеба, обсыпанную солью.

На этот раз, правда, на коней сели лишь на следующий день после прибытия. Погарцевали следом за маршалом, покрутились у притихшей границы, да и всё на том. Эшелон стоял у какого-то безжизненного завода с сиротливыми, холодными трубами в Ленинградской области, а до границы дважды или трижды пыхтели, обволакиваясь густым паром, после чего возвращались на ночевку. Было скучновато. Зато войска везли эшелон за эшелоном и разгружались в поле, на опушке редкого леса и у промерзшего тихого озера.

Эта кампания была совсем не такая, как предыдущая. Да и Буденный вел себя нервно, часто хмурился, отмахивался от советов. А потом как-то пробурчал:

– Что за земля такая! Холод, ветер! Тут не воевать, а помирать надо. Эх, мне бы с Маннергеймом в степи сойтись… А тут какие-то линии… Выше лыж боец над землей и не поднимется. Не война это, а сплошная подлость!

Как уже вспоминалось, он не любил танки, танкетки, самоходки, которые только-только появились, и всякого рода бронемашины. Считал их помехой в войне, а не подмогой. Они, на его взгляд, не давали показать красоты боя, воняли черным дымом, керосином, плевались жарким огнем, да еще лошадей пугали. Он очень быстро захотел домой, в Москву.

Однако сознаться не смел. Потому и хмурился, часто напивался в своем пульмановском вагоне и шумел. Павлу пришлось дважды переносить его от стола в широкое купе и сваливать на неприбранный кожаный диван. Один раз, незадол-

го до отъезда, маршал очнулся, уставился на Павла пьяными, невидящими глазами и рыкнул:

– Ты кто есть! Почему казака как бабу лапаешь!

– Виноват, товарищ маршал Советского Союза! – Павел отпрянул и растерянно выпрямился, – Часовой ваш – Павел Тарасов. Прикажите, уйду…

– Стоять смирно! – просипел маршал и приподнялся на локте, – Ты – молодой Чапаев. Теперь узнаю… У меня память… О-го-го! Дай бог каждому! Слушай сюда, часовой… В Москву с нами не езди. Оставайся здесь, при штабе… С моим представителем…, с полковником Боровиковым… В Москве сейчас плохо будет… Приказ понял?

Павел ничего в действительности не понял, подумал, что это всё пьяный бред, который завтра же забудется, но все же привычно вытянулся и лихо козырнул. Однако не забылось. Утром было принято решение сворачиваться и о фельдмаршале Маннергейме забыть раз и навсегда. Буденный соединился с Москвой, хмуро кого-то там выслушал и махнул рукой начштаба – давай, мол, оформляй отход.

К Павлу подошел седой полковник Глеб Игоревич, безусый, с бритыми до синевы щеками, хрупкий, мелкий. Глаза у него были темные, внимательные, похожие на черные камни, какие Павел видел на Байкале, до того твердые.

– Вы при мне остаетесь, сержант, – коротко сказал он, – Еще семь командиров. Стоять будем здесь, потом продвинемся …по мере успеха…вглубь территории противника.

Задача ваша обычная – стоять на часах, посторонних не допускать. А когда в штабе нет никого, так и на телефоне будете. Смены вам не предусмотрено. Так что имейте в виду.

Павел кивнул и отвел глаза. Он решил, что чем-то вчера он не угодил маршалу, и тот теперь от него избавляется под таким обидным предлогом.

– Вы ведь пограничник? – внезапно спросил полковник, собиравшийся уже было выйти из вагона, где происходил разговор.

– Так точно, товарищ полковник. Забайкальский пограничный округ.

– Действительная служба?

– Так точно. В конце декабря заканчивается. Со следующего года хотел на сверхсрочную… Успею?

– Сейчас демобилизации не будет. До весны… Сами понимаете… Вернетесь, пишите, просите… Я поддержу. Так, значит, пограничник?

– Так точно.

– Как думаете, справимся?

– Не знаю, товарищ полковник… Я маленький человек… Да и служил не здесь. Там другое…, там самураи.

– И здесь самураи, – полковник внимательно, тяжело заглянул Павлу в глаза, как будто камешки приложил к ним, – Только северные самураи. Пощады не знают. Хорошие лыжники, охотники чудные. Здоровенные все…, пьяницы, однако, тоже, как и мы… Но знают, когда пить, хоть и не знают

сколько. А мы вот ни того, ни другого не знаем.

– Одолеем, товарищ полковник.

– Ну-ну! Одолеем…, если нас самих не одолеют, сержант. Впрочем, нас больше…, мы – масса. Выходит, одолеем.

Он резко развернулся и пошел в сторону вагонного тамбура, к выходу.

Павел посмотрел вслед этому хрупкому человеку, которого он и раньше часто видел у маршала, но ни разу и словом с ним не перебросился, только козырял, завидев его в коридоре, а тот в ответ холодно кивал. Он всегда нравился Павлу аскетичностью своей фигуры, лица, манеры. По представлению Павла, русское офицерство всегда было таким, как этот. Во всяком случае, та его часть, которая оставила о себе лучшие воспоминания. Он не раз слышал это от старых военных спецов, кое-где еще сохранившихся, и думал, что не все так, оказывается, было, как теперь учили: была большая и сильная армия, у армии были свои авторитетные командиры, и были победы, были поражения, но было еще нечто такое, что вынуждало людей с гордостью становиться под единый флаг. Не красный, а какой-то другой. Под ним стояли, должно быть, и такие, как вот этот – сухие, немногословные, точные во всем и верные до последнего дыхания своему слову и своей солдатской присяге. Почему-то именно полковник ассоциировался у Тарасова с этими людьми, давно уже ушедшими в прошлое.

Похоже и маршал питал к полковнику самые добрые чув-

ства. Говорят, тот писал когда-то за него работы в академии, поражая всех своей образованностью и сообразительностью. Даже научностью, как однажды уважительно подняв к небу палец, выразился Пантелеймонов. Маршал ни разу не то, что не наорал на него, но и просто голоса ни разу не повысил, хотя полковник этот рядом с ним выглядел подростком, так был мелок и худ. Но тверд. Очень тверд!

Павел легко подхватил свой вещевой мешок, небольшой фибровый чемоданчик с оружием и с мелкой кавалерийской амуниций, и, пригибаясь под колючим влажным ветром, поплелся по отверделой ледяной корке к проходной безжизненного заводика. В заводоуправлении размещался штаб со связистами, с охраной НКВД и с несколькими деловитыми командирами. Ждали кого-то, суетились. Группе полковника отвели здесь три малюсенькие комнатушки и еще две, в соседнем здании, под сон и отдых.

С Пантелеймоновым, Рукавишниковым и Турчининым Павел даже распрощаться не успел. Он еще не знал, что с первым из них больше никогда не увидится, а о втором услышит лишь уже в другую войну. Того судьба горько обидит, скинет в самый низ, вновь поднимет и вновь скинет. С Турчининым же предстояла еще только одна встреча в Москве, сразу по возвращении. Говорить будут шепотом, в ночи, оглядываясь и пугаясь своих и чужих теней.

Много позже о нем ему напишет на фронт Маша, в конце сорок четвертого или в самом начале сорок пятого. Турчи-

нин с ней встретится увидится в Москве.

Вот так эта маленькая северная война ляжет между Павлом и его однополчанами, по-существу, единственными друзьями, непреодолимой границей.

Павел услышал протяжный гудок с мощным свистком и разглядел сквозь заиндевевшее на морозе, никогда, ни разу немытое заводское оконце, как, окутываемый клубами горячего пара, эшелон потянул в Москву. Он выскочил из здания, пролетел мимо проходной и замахал руками, будто пытаясь остановить уходящий поезд. Ему почудилось, что его тут бросают навеки. В действительности же они оставляли его в этой, старой и, как оказалось, вполне уютной жизни, а сами уходили в другую, в которой не всем еще достанется место.

На низкой платформе стояло несколько командиров во главе с полковником и еще трое скучных красноармейцев, один из которых был ординарцем, а двое из хозроты. Павел помог перетащить два ящика и тяжелый деревянный чемодан (аж рука отрывалась, когда волок его) в выделенные комнатушки временного штаба.

О той жизни на обледенелом заводе, с «буржуйками» и черной копотью от угля и хилых поленьев в памяти Тарасова почти ничего не осталось. Дважды ездили на машине и один раз на промерзшей электричке, используемой здесь только военными, вглубь территории. Один раз попали в засаду. Из леса, не густого, серого, заснеженного вырвался

небольшой отряд финнов на лыжах. Батальон, в который зачем-то ездил полковник, залег в снег. Финны стреляли не пачками, как наши, а выборочно, одиночными выстрелами. Без промаха! Одного из командиров из буденовского эшелона убили, а второго ранили в шею. Он умер позже в Ленинграде, пуля перебила ему какой-то нерв. В том же бою погибло семеро красноармейцев. Их постреляли прямо в снегу, с небольшой сопки. Били прицельно, ловко, сразу насмерть. Каждому пуля попала в голову, чаще даже в темя. Из финнов убито было лишь двое: огромные, светловолосые парни, с полными, румяными лицами. На ослепительно белом снегу их алые физиономии были так видны, будто кто-то не загасил костер. Финны ушли, забрав их лыжи и винтовки. Даже ножей не оставили. Здесь их называли «пуукко». Добыть такое оружие среди русских считалось куда большей удачей, чем даже винтовка. Самих же застреленных забрать не сумели – уж больно были тяжелы.

– Вот так! – вздыхал Глеб Игоревич, – Воюй с ними! А вы говорите, там самураи. А здесь кто? Чудные охотники, на лыжах лучше, чем на ногах стоят, и стреляют как боги. Один за десятерых. Тут можно так целую армию на снегу оставить. Впрочем, они ведь за свою землю воюют. Их можно понять…

Павел удивлялся этим словам. Их можно понять. А нас? Нас нельзя? Он-то считал, что это и есть русская земля. Павел думал, что раз Ленинград рядом, то границу надо бы ото-

гнать подальше, а финны – так это те же белые, те же враги! У них и фельдмаршал Маннергейм настоящий барон. Он еще царю служил. Как же их понимать? И как же понимать полковника?

А Глеб Игоревич говорил, будто себе под нос:

– Барон стратег. Он себя и в японскую кампанию показал… А уж как в Мировую! Такие на вес золота…! С такими дружить надо, а не стреляться.

– А вы его знали? – удивился Павел, немного рассерженный на полковника за такую похвалу врагу, тем более, только что унесли раненых и убитых.

– Я военный человек. Авторитетных полководцев знать обязан. И учиться у них. Впереди это, молодой человек, еще очень пригодится. Помяните мое слово… Пригодится! Тут шапками закидать не удастся… Тут мыслить необходимо… А у нас что? Только кто задумается, ему голову с плеч долой! Вот и думают…не тем местом. Голову берегут. Размышляют…так сказать…тем, чем на седле сидят. К этой войне мы не готовы. Противника не знаем, обмундирования нет, стрелков хороших, лыжников нет, карты врут. И командование врет, на самый верх врет… Если и одолеем, то только массой. Жизнями так сказать…нашими жизнями. А они вон как! Один финн к десяти нашим, да еще, как видите, без промаха.

Полковник посмотрел куда-то в сторону и вдруг прозрачно улыбнулся:

– И все равно любую крепость взять можно. Тут Маннергейм ошибается. Хочешь – не хочешь, отдаст. Спросите любого полководца, он вам скажет, что нет крепостей, которые нельзя взять. Именно поэтому не существует полководцев, которые бы сказали, что есть крепости, которые можно удержать.

Кто-то из командиров в штабе рассказал, что Боровиков в действительности знал барона лично, потому что когда-то ездил от Генштаба на переговоры с ним и даже изучал его знаменитую линию обороны. Маннергейм даже позволил осмотреть какую-то ее часть – так был в ней уверен. Полковник вернулся в Москву весь бледный. Сказал, морщась: «Нам бы такое на южных границах…, да еще на западных… Тогда, может, пару лет протянем, а там и перевооружимся. Ни один «заклятый друг» будет не страшен!» Его чуть не арестовали за *пораженчество*. Это опасное и лукавое слово появилось в самом конце тридцатых. Каждый, кто говорил то, что видит, мог подпасть под это обвинение. Полковника отстоял Буденный.

– Да дурак он у нас совсем! – хохотнул маршал на каком-то совещании и тут же смутился, – безвредный. Но полезен своим тактическим глазом. Я его сам накажу… Примерно накажу!

На том и закончилась та неприятность. А полковник, говорят, сильно обиделся на маршала. Даже сказал при адъютантах с раздражением:

– Что ж вы, товарищ маршал, дураку доверяете? И в академии, и тут вот…

– Дурак он и есть дурак! – рявкнул Буденный и быстро исчез за своей дверью.

На финской кампании Павел, наконец, обзавелся буденовкой. Это была полевой головной убор и тыловикам его не выдавали. А штаб полковника Боровикова в связи с его отдаленностью от фронтовой полосы, постепенно уползавшей в сторону Финляндии и даже вглубь ее, считался тылом.

– Каждый километр в их сторону – сотня наших жизней! – тяжело вздыхал полковник.

Служба здесь для всего временного штаба окончилась уже в феврале, за месяц до окончания войны и подписания мирного договора, по которому граница от Ленинграда уползала в сторону Финляндии на 150 км. А было ведь всего восемнадцать до войны.

В феврале началось мощное наступление, линия Маннергейма дала трещину, стала разваливаться, но все равно, благодаря особым укреплениям и ДОТам, глубоко зарытым в землю, держалась и наносила огромный урон. Советское правительство торопилось с договором, потому что теряло людей. Финны прицельно выбивали средний командный состав войск, в основном, молодых выпускников академий. Гробы увозили в Россию по ночам в закрытых деревянных вагонах, на которых писали огромными кривыми белыми буквами: «Специальный груз. Не вскрывать!» Рассказы-

вали, что два таких вагона по ошибке загнали в тупик на товарной станции под Ленинградом и забыли. Стояли лютые холода, поэтому тела разлагались медленно, запаха не было. Обнаружили их подростки, промышлявшие на железной дороге кражами из никем неохраняемых или плохо охраняемых составов. Внутри одного из вагонов в незаколоченном гробу (у него даже была сдвинута крышка) они нашли забытый кем-то револьвер, прямо на теле курсанта военной школы. С этим револьвером двоих мальчишек через день поймали сотрудники ленинградского Угро, а они уж вынуждены были рассказать, где взяли.

Штаб уехал в Ленинград, на одну ночь, а ранним утром уже тряслись в поезде на Москву. Молчали, пили водку, шепотом спорили, нужно ли все это было, и как там сейчас на передовой.

– Еще навоюетесь, – вещал мрачно полковник Боровиков – Еще навоюетесь!

8. Аресты

Между польской и финской кампаниями Павел с Машей почти совсем не виделись, потому что ее в это время послали на учебу в Новгород, на какие-то общие курсы. Вернулась она в самом конце октября, накануне его отъезда на финскую границу, да и то потому, что заболела мать. В Новгород пришла срочная телеграмма из поликлиники. Адрес врачам дала мама. Маша немедленно выехала, застала маму в тяжелом состоянии, одну, без помощи. Надежда Федоровна дома пролежала очень недолго, температурила, страшно страдала от болей внизу живота, вскоре ее отправили в больницу, с острым приступом почек, и через три дня она умерла. Маша горько, безутешно рыдала, корила себя за то, что не во время уехала на курсы, хотя отказаться не имела права. Павел мрачно молчал, жалел ее, тяжело вздыхал, гладил по голове.

А тут как раз подоспела финская кампания и его самого отправили из Москвы. Так что видеться им пришлось очень коротко лишь по тому печальному поводу. Теперь же он хотел поскорее встретиться с ней. Тем более, предстояло увольнение с действительной и новое оформление на ту же службу.

Поезд тянулся медленно, хотя ехать было совсем близко, подолгу стояли на безликих, ледяных перегонах. К границе гнали военные эшелоны, встречные терпеливо ждали их на

стрелках. Теряли по часу, а то и по два.

Павел, в длиннополой своей шинели и в новой буденовке, выскочил первым из вагона. Он отпросился на пару часов у Боровикова, объяснив ему, что у знакомой беда, недавно мама умерла, и надо бы, мол, ее сразу навестить, кинулся в Ветошный. Был уже поздний, темный вечер. Без устали мела и шелестела поземка, пронизывал злой, свистящий ветер. От вокзала Павел сел на древний дребезжащий трамвай, выскочил на улице Кирова у пересечения с Чистыми прудами и оттуда, не замечая за спиной вещевого мешка и неудобного фибрового чемоданчика в руках, быстрым, походным шагом пошел в сторону Никольской башни Кремля, по длинной, узкой чуть изгибающейся улице к Ветошному.

Вспомнил, что называли ее когда-то Никольской, Маша рассказывала – и про греко-славянскую академию в старорусских строениях, и про монахов и послушников, которые тут когда-то жили, и про нэпманов, которые очень быстро и шумно обжили улицу, и про то, что теперь она совсем никчемная, потому что тут нет ни первых, ни вторых, ни третьих. А только носятся туда-сюда черные машины, похожие на гробики, от Кремля к площади Дзержинского и обратно, толкутся какие-то люди у старого здания ГУМа, в котором товаров почти нет, а все как на выставке – либо в одном экземпляре, на витрине, либо так дорого, что не подступиться. Иногда что-то предлагают с рук и воровато оглядываются.

Сейчас тут было пусто – только ветер со снежной крупой

играл в лютую зиму, завывал студеный ветер, светили редкие, раскачивающиеся фонари, а у выхода на Красную площадь кутался в серый тулуп с поднятым высоким меховым воротом не то постовой, не то часовой. У него была при себе винтовка, прижатая к животу. Павел, прежде чем повернуть на Ветошный, даже разглядел отмороженный белый нос и как будто спящие, оловянные глаза. Казалось, что здесь уже глубокая ночь, хотя был всего лишь вечер. Павел подумал, что сейчас Сталин вряд ли сидит у окошка – не на кого трубкой дымить, и тихонько рассмеялся этой мысли. Прошло полтора года с тех пор, как он впервые подумал об этом, а потом уже и сам видел вождя. Теперь те фантазии показались ему наивными, детскими, смешными и стыдными, чтобы их вот так вспоминать. Две короткие войны, тяжелое сражение на Дальнем Востоке – разве можно при этом сидеть у окошка, мирно дымить трубкой и подшучивать над зазевавшимися красноармейцами? Тут ведь не до смеха!

Маша была дома. В трогательном байковом халатике, с белыми шерстяными носками на ногах, в тапочках, вырезанных из старых валеночек. Хлюпала носом, потому что простыла и теперь никак не могла справиться с невысокой температурой и постоянно влажными глазами. Она порывисто обняла Павла и жалобно всхлипнула.

– Я на час…, – скороговоркой шептал ей Павел, низко пригибаясь и целуя в шею, – меня ждут…, я прямо с поезда…, отпросился. Только чтоб увидеться, а то не знаю, как

завтра… Там ведь пока еще война, наступление, а мы вот, видишь, вернулись… Ребята намного раньше нас приехали, ждут, наверное.

Маша отпрянула, глаза ее испуганно расширились, стали похожи на два маленьких сереньких блюдца.

– Что ты! Что ты, Паша! Разве ты не знаешь! Их же арестовали почти всех! Позавчера еще… Да вы в дороге были…

Павел изумленно отстранился, рывком стащил с головы буденовку и тут же сбросил с плеч прямо на пол шинель. В руках у него теперь остался только ремень с расстегнувшейся кобурой и с торчащим из нее черным револьвером.

– Как арестовали! Кого! За что! – он задыхался, как после бега.

Павел знал, что Буденный оставался в штабе на Садовнической временно, что Московским округом командовал уже другой человек, а его, маршала, перевели в Наркомат обороны, заместителем Ворошилова. И в штабе, видимо, полным ходом шли сборы. Да, видимо, теперь уже не идут. Некого собирать!

Тарасов вдруг опять вспомнил свою глупую фантазию о Сталине у окошка и чуть не зарыдал от стыда за себя. Кто-то обманул вождя, кто-то подсунул ему грязную, подлую ложь, кто-то очень, очень дурной убивает людей, а Сталин, доверчивый, не знает, что это и есть истинное вредительство. Ведь идет война с финнами! Какие к черту сейчас аресты! Да кого!

– У нас запросили дела на всех, Паша! Только твое и Тур-

чинина не взяли. Там у вас еще один часовой был…, так его тоже нет уже. Арестовали Пантелеймонова и Рукавишникова. И вот еще…, с арестом какой-то скандал случился… Стрелял кто-то из них! Из взвода охраны взяли командира, политрука и еще троих. Ты туда не ходи сейчас! Прошу тебя! Христом богом прошу! Я не знала, как тебя остановить, а ты сам заявился… Они метут как-то очень остервенело. Как в тридцать седьмом… Может, это опять началось? Тогда у нас полки с личными делами по некоторым отделам остались пустыми … Пыль одна только!

Павел вошел в комнату в конце узкого коридорчика, в которой жила когда-то Надежда Федоровна, и устало сел на раскачивающуюся, скрипучую табуретку. Ему казалось, что он о чем-то напряженно думает, но потом вдруг понял, что в голове лишь звенящая пустота, в которой траурным набатом гудят только что произнесенные имена. В руках все еще был ремень с разинутой кобурой. Он растерянно повертел ее, медленно потянул за ребристую ручку револьвер и вдруг с силой сунул его обратно, захлопнул кожаный клапан кобуры.

Павел резко поднялся, решительно отстранил от себя Машу, попытавшуюся схватить его за край гимнастерки, и выскочил в коридор к брошенной шинели. Маша со страхом увидела, что он, с трудом попав в рукава, рывками, быстрыми, непослушными пальцами уже застегивает пуговицы, перехватывается ремнем, проверяет одним заученным дви-

жением, на месте ли оружие, потом хватает буденовку и со злым лицом, ненавидящим какую-то опасную пустую даль, решительно поднимает вещмешок и рвет на себя дверь. Маша, видя все это, не смела даже двинуться. Она лишь в конце концов схватила фибровый чемоданчик, который весело звякнул внутри себя шпорами и еще чем-то, и прижала его к груди, как будто только так можно было остановить Павла.

Тарасов обернулся, и взгляд его сразу потеплел, обмяк.

– Ты не волнуйся, Машка! Меня не тронут. Батя не даст. Я только узнаю и все. Он один там…

– Он не один! – крикнула Маша и рассердилась вдруг и на Павла, и на себя, – Не один! Ему других дали. Ты маленький человек, Паша! Тебя сомнут и не заметят этого. И даже батя твой не заметит!

– Я не могу…, не могу. Я должен…, понимаешь?

Он хлопнул дверью за своей спиной и загромыхал сапогами по деревянной лестнице.

Павел быстро прошел по Ветошному переулку, обогнул слева храм Василия Блаженного, темный, беззащитный в беснующейся вокруг него пурге, побежал к мосту. Слева, за метелью, чернел районч ик, называемый Зарядьем; когда-то, говорят, был деловой, еврейский, купеческий. Маша рассказывала, что там в древние времена жили ростовщики, они царям одалживали, давали деньги, а потом строго спрашивали с них… Теперь там бывает опасно – говорят, сначала расселили бывших балтийских матросов, сделав из двух до-

мов не то казарму, не то общежитие, потом еще каких-то военных привезли, шумели одно время, даже постреливали. Но это очень давно было. Сейчас как будто затихли, однако все равно лучше туда не ходить. Вроде бы и Кремль рядом, а люди ходят странные, нищенской наружности. Всё решают, что делать с этим пятачком.

– Почему Зарядье? – удивился тогда Павел, – Кого там заряжают?

Маша весело рассмеялась:

– Дурачок ты деревенский! Зарядье – значит, за рядами. Тут, где я живу, торговые ряды, большие и малые, а там – зарядье, то есть за ними, за рядами, у реки. Потому там купечество и жило, ростовщики, речники тоже… Склады были, пакгаузы. Рынок опять же… А теперь вон чего – не поймешь… Разрушать надо. Грязищи от них там!

Павел пролетел почти бегом мимо темного квартала по мосту и сразу взял влево, в сторону Пятницкой. Было уже очень поздно, темно. На неосвещенной улице почти никого, разве что, случайный человек перебежит из одного парадного в другой, да пара милиционеров в серых тулупах топчутся.

В казарме Павел сбросил мешок в своем закутке, за занавеской, в общей, длинной и теплой комнате с койками, и тут же сел на табурет и задумался – а что дальше? Не бежать же к маршалу! Его нет, должно быть. Ночь же почти. И полковник Боровиков, наверное, сдал все с дороги и укатил к себе. Он где-то на Земляном валу жил, рассказывал в поезде об

этом.

На койках тихо спало человек семь, остальные были в карауле. Павел, снял ремень, расстегнул ворот гимнастерки, вышел в длинный, пустой коридор и побрел, стараясь не греметь каблуками, в общий умывальник. От кабинки без дверки, где была деревянная уборная с черной круглой щелью посередине, неожиданно, деловито заправляя рубашку в бриджи, вышел Турчинин.

– Ваня! – вскрикнул Павел и обрадовано шагнул к нему, – Ты-то мне и нужен…

Турчинин затравленно оглянулся и, убедившись, что у умывальников никого нет, приложил палец к губам, и тут же зашипел:

– Ты чего явился!

– Да как же! – стараясь говорить как можно тише, широко раскрывая изумленные глаза, ответил Тарасов, – Мы же с Боровиковым прибыли… Сегодня, вечером… Я только к Маше на минуту и сразу сюда… Она говорит…

– Тише! Чего орешь! – Турчинин рассердился, быстро подошел к одному из умывальников и пустил воду.

Он еще раз оглянулся и вдруг, ухватив Павла за расстегнутую, не стянутую ремнем гимнастерку, притянул к себе.

– Оставался бы у своей Машки, – грубо, с раздражением, шепнул Турчинин, – Небось, не отпускала, дурака…

– Не отпускала, – Павел наклонил голову и вздохнул, ощутив вдруг свою вину перед Машей.

Ему сразу стало ее жаль, будто он обидел ребенка, а не взрослого человека. Наверное, плачет там одна. Еще больше пугало его то, что она не умела на него дуться, как, должно быть, другие женщины, не умела отвечать, сердиться, упрекать, и оттого любая причиненная ей обида становилась еще горше, еще несправедливее. Это – как пнуть щеночка за то, что он ненароком набедокурил или за то даже, что его, несмышленого и добросердечного, не поняли правильно. Или вот ребенка, невинного и любящего. Виноват всегда сильный, подумал было Павел, но Турчинин как-то очень многозначительно прошипел, прервав его мысли.

– Бабы умнее нас… Взяли тут всех.

Турчинин наконец отпустил Пашину гимнастерку и смочил холодной водой себе лицо, еще раз обернулся, потом, притворяясь, что умывается, опять зашептал, почти не глядя на Павла:

– Сашка Пантелеймонов погиб. Они пришли к нему…, на Вторую Тверскую, у тетки он жил … Ломятся, орут, а он наган выхватил и сразу двоих положил, которые у двери стояли. Тут рассказывали…, кое-кто из командиров лично видел …, брали его с собой зачем-то, гады! Сашка на крышу вылез, они за ним. Он и спрыгнул с седьмого этажа и сразу насмерть.

– Почему, почему он стрелял!? Он, что, враг!? – Павел оцепенел от услышанного, голос почти пропал, лишь трещало что-то в горле, вырываясь хрипом.

– Сам ты…, – блеснул свинцовыми глазами Турчинин, – Не дался им! Вот почему! Если Сашка враг, кто тогда друг? Он чекистом был…, он у самого Менжинского служил… А ты…враг! Какой он к черту враг! Ошибка это…

– Я и говорю, Ваня! Ошибка. Разобрались бы… Зачем стрелять-то в своих!

– Да кто же там свои-то? Свои своих с револьверами брать по ночам не ходят, Паша! – Турчинин опустил глаза и мрачно смотрел на бегущую в чугунный умывальник крученую холодную струйку. Капли, отскакивая и дробясь, попадали на его рубашку, но он даже не замечал их.

– Это позавчера было, – продолжил тихо Турчинин, – А вчера взяли прямо здесь Рукавишникова. Он орал на весь штаб, что за Пантелеймонова ему еще ответят… Они сбили его с ног, в кровь расшибли, сволочи! Я видел, как его волокли к «Эмке»…, прямо как мешок с песком…, он как будто уже и не дышал. Здорово они его…

– А батя! Батя-то чего!

– А чего батя? Полетел к Самому, кипел как самовар! Потом вернулся злой, серый. Бутылку коньяка один выхлебал…, троих из новой охраны матюгнул … их ведь сразу к нему приставили … и укатил на дачу, в пригород. По снегу…, я думал, пьяный он, а, гляжу, нет! Трезвый, будто не пил вовсе, злой только до невозможности …

– Что теперь делать, Ваня? – Павел произнес это тихо, постепенно освобождаясь от оцепенения.

– Не знаю, – ответил Турчинин и тяжело выдохнул, – Я проситься буду на границу куда-нибудь. Чем дальше от этих, тем лучше. Уже написал вот… Жду… Сам знаешь, сразу не решат… А ты как хочешь… Машу свою спроси. Ей-то виднее… Сам понимаешь!

Павел весь задрожал, будто неожиданно замерз. Он грубо схватил Турчинина за плечо и энергично потряс.

– Почему, почему! Я тебя спрашиваю! – зашептал он так яростно, словно охрипший человек все же пожелал выправить свой голос и теперь безжалостно рвал связки.

Турчинин оттолкнул его, сморщился и болезненно потер плечо. Он опустил голову, уперся руками в края умывальника и тихо сказал, не глядя на Павла:

– Почему? А потому! Это – другие, понимаешь!? Это не те, которые вчера или позавчера были… Эти только ждали, когда можно будет… И дождались!

– Какие другие? – опешил Павел, – Чего ждали?

Турчинин медленно повернул голову, внимательно и строго посмотрел Павлу в лицо, но ничего не ответил.

– Да ты говори! Говори, Турчинин! – отшатнулся Павел, увидев злое, жесткое недоверие в его глазах, – Я же свой! Как же можно!

– Свой? Опять – этот «свой»? Они – свои, ты свой… Кто сейчас свой? Ну, да ладно! Контрреволюция это! – Турчинин произнес это с той же злой твердостью, с которой только что смотрел на Павла, – На чужой шее в рай въехать хотят. Гады!

Думаешь, Сталин не знает? Рядом же всё! Только в окошко выгляни… А почему молчит? Или, может, не молчит? А? Ну, что глядишь!

Павел отвернулся, встал спиной к Турчинину, бессильно опустились руки.

– Тебя, может, не тронут, – выдохнул за его спиной Турчинин и осторожно коснулся руки Павла, повыше правого локтя, – Может, обойдется… Ты недавно тут… Но имей в виду…, сейчас такие гады на наши места придут…и уже пришли…, что самому тошно будет. Впрочем, у нас их всегда с лихвой хватало. Держись, брат! А меня уволь…

– Я думаю…, думаю…, – вдруг сказал Павел, – это все так надо… Наверное, всегда нужны жертвы? Без них ничего не бывает.

– Жертвы? Что не бывает без жертв! – голос Турчинина опасно дрогнул, – Революция не бывает без жертв, это верно. И война не бывает без жертв. Но своими жертвовать нельзя никогда! На кого потом опираться, Паша! На мертвых? Они-то всё вытерпят. А кто будет опираться? Тот, кто ими пожертвовал, наплевав на всё и на всех? Пантелеймонов жертва? Рукавишников жертва? Потом я, потом, может, ты? И тысячи, тысячи, тысячи… Что останется? Кто останется? Эти гады останутся, вот что! А ты говоришь, жертвы… Цель-то, цель какая? Я вот не знаю…

– Я тоже…, – тихо, одними губами шепнул Павел.

Турчинин действительно через полторы недели уехал на

западную границу, в Белоруссию. Говорят, что на новые земли, в Брест, заместителем командира взвода. Он даже не попрощался. Просто исчез и всё. Павел сначала обиделся, но потом подумал, что сейчас всем не до этого.

Тарасова с помощью Маши, получившей в те же дни звание лейтенанта государственной безопасности, уволили с действительной, как положено, и приняли на сверхсрочную. Буденный опять потребовал его к себе. Встречал в коридоре и смотрел с теплотой, хотя и слова не сказал – ни о Саше Пантелеймонове, ни о веселом том цыгане – о Женьке Рукавишникове.

Павел вспомнил их последний разговор под Ленинградом, перед самым отъездом штаба в Москву. Буденный был пьяный и говорил лишь то, что думает.

Маршал уже что-то знал или о чем-то догадывался. Почему он спас его, оставив с полковником Боровиковым на заброшенном заводе, во временном штабе? Почему увез остальных? На эти вопросы Павел так никогда и не сумел найти ответа, хотя думал об этом до самой старости, до того момента, когда умирал один в середине девяностых годов в маленькой московской квартирке почти парализованный в ногах. Все эти люди проходили перед его мысленным взором, словно в молчаливом строю – каждый виделся таким, каким более всего запомнился: кто-то ведь так и не сумел состариться, а кто-то, чью внешность изменило время и возраст, все равно сохранил в его памяти тот единственный

образ, точно был запечатлен на старой фотографии. Если в характере у него была сосредоточенность, серьезность, то и в памяти он оставался таким и никаким другим; если был улыбчив, то и в памяти у Павла всегда смеялся, несмотря на то, что дальнейшая его жизнь вовсе не располагала к веселью.

Даже Маша, ушедшая раньше его, уже очень немолодой женщиной, оставалась все такой же, какой была в то время, когда умерла ее мама, когда забрали его друзей, когда начался новый период его службы у Буденного. Да и сам маршал, которого он в своей старости видел уже редко лишь на экране телевизора или в газетах, по случаю каких-нибудь революционных праздников, постаревший, ссохшийся, оставался тем шумным казаком с роскошными усищами и с черными горячими глазами.

Все это он будет рассказывать впервые сыну, ничего не знавшему об этом, и, прерываясь будет молить его купить костыли полегче, а то деревянные, тяжелые, ему уже не под силу таскать подмышками. Сын, родившийся много позже после войны у другой женщины, не у Маши, будет рассеянно кивать ему и в конце концов забудет о костылях, но запомнит всю эту длинную историю, и уже после смерти отца будет горько, до слез, корить себя за то, что так и не успел, за всеми своими заботами, купить отцу легкие костыли. Но это всё уже случится много позже. А между той встречей ночью с Турчининым и длинным рассказом в маленькой мос-

ковской квартирке пройдет не одна жизнь, и не одна жизнь прервется.

…В новой личной охране были уже трое, а не двое, как раньше – Ковалев Владимир, худой, мрачный, лысоватый, Павленко Виктор, безликий, серенький, и Рихард Стирмайс, высокий, светлоглазый блондин, очень холодный, сухой, постоянно криво усмехающийся. Статный красавец, прибалт из тех, кто еще до польской кампании жил здесь, не ожидая присоединения позже и балтийских земель.

Вместо уехавшего позже Турчинина и арестованного в тот же день, когда и Рукавишникова, Родиона Колюшкина, сверхсрочника, назначили какого-то немногословного, туповатого, необразованного уральца из действительного набора, Комарова Кузьму. Таким образом, оставались «на часах» Павел, Степан Павшин из старого состава и этот самый Кузьма. Хотели еще кого-то четвертого, но так и не прислали.

Одновременно с этим штаб Буденного все же переехал на Арбат, в самое его начало, к бульварам. Павел сначала жил месяц в общежитии НКВД на бывшей Малой Лубянке (туда он потом еще вернется после войны), а потом переехал к Маше на Ветошный.

Почти сразу после переезда на Арбат арестовали полковника Боровикова. Тихо, ночью, у него дома на Земляном валу. Увезли и жену, и больную тещу, вдову какого-то советского хозяйственника, и сына, тихого паренька лет пятнадцати. Об этом стало известно утром следующего дня. Кто го-

ворил, как говорил, кому говорил, неизвестно, но вдруг полковника Боровикова не стало.

Павлу почему то припомнились его слова о том, что любой полководец скажет, будто нет крепостей, которые нельзя взять. Именно поэтому, дескать, не существует полководцев, которые бы сказали, что есть крепости, которые можно удержать.

Вот и он не удержал свою крепость, взяли ее и всех ее обитателей.

Маша умоляла Павла быть тише воды, ниже травы, не спрашивать никого и ни о чем, даже ее. Однажды она пришла с работы и сообщила, пряча глаза, что уезжает еще на какую-то учебу в Хабаровск, к той, дальней, границе. Теперь якобы надолго. А Павел может жить в Ветошном переулке, у нее, только не водить никого сюда.

Сначала говорили между собой о том, что надо бы расписаться, а то как-то странно живут. И соседи ухмыляются, и, наверное, доносы кто-то строчит на Машину службу. Хотя, кто знал, где она в действительности служит? Видели иной раз в форме НКВД, да и всё. Но кто хотел, считал Павел, найдет, куда писать.

Маша, вздыхая, покачала как-то головой:

– Пока не надо, Паша… У нас с этим теперь строго. Начнут копать – кто да что… А у тебя там тамбовщина в крови… Сам понимаешь… Пока не проверяют, вроде бы все в порядке, а копнут, непременно придерутся к чему-нибудь. Я-

то знаю, как это бывает! Да и Германа Федоровича на западную границу отправили, в стрелковый корпус. Заступиться теперь некому. Его ведь самого вызывали уже, расспрашивали обо всех. Он экзамены в академии сдал и сам же напросился подальше. А тут ведь обязательно копать начнут – почему он тебя из Забайкалья взял, как в охрану к маршалу попал, почему других арестовали, а ты вот остался… А у меня ведь сейчас как раз учеба… Это не совсем по линии кадров, Пашенька. Я тебе сказать не могу, понимаешь? Особенное дело… Так что лучше бы обождать пока. Ты живи у меня. Вроде как квартирант. Я уж и оформила это, в домоуправлении. По запросу, как будто, из кадрового отдела.

Павел сначала загорелся обидой, запыхтел недовольно, но посмотрел на Машу пристально и всё будто бы разом понял. Она не столько себя, сколько его берегла. Начнут вокруг нее пространство расчищать и не перед чем не остановятся. Все окажутся лишними. Может быть, даже и Герман Федорович, которого он с тех пор так ни разу и не видел.

Так Павел остался на Ветошном один. Раз или два поздней ночью, изголодавшись, приводил женщин, но страшно себя за это корил, ругал и утром пораньше буквально выгонял их. Всё боялся, заметит кто-нибудь, донесет Маше, и что тогда будет! Даже подумать страшно!

Она же писала очень редко, раз в два месяца. Намекнула, что учеба закончилась и теперь служит там же, в округе. Но не в кадрах, как будто уже. Однако говорила, что это вре-

менно, а потом все равно вернется обратно к своим старым обязанностям, в Москву. Спрашивала о порядке в квартирке, о том, сыт ли, не стал ли выпивать. Он только посмеивался, потому что голод его не мучил, а к пьянству всегда относился плохо – организм не принимал крепкого спиртного, выворачивало всего наизнанку. Многие даже издевались – мол, как девица. Здоровый, крепкий, а выпить по-мужски не умеет. А он не принимал этого и не любил. Вот природа и выталкивала из него все лишнее.

9. Москва

В августе 40-го года Буденный стал первым заместителем наркома обороны, получил еще один орден, очередное подарочное оружие, ему заменили автомобили на новые, расширили квартиру в правительственном доме на улице Грановского, а в довершение ко всему, со всей своей челядью переехал в новое служебное помещение почти там же, только в другом корпусе.

Павел теперь стоял на часах без винтовки, прямо в приемной, у двери. Главной его обязанностью было – обыскивать посетителей и смотреть, чтобы лишние сюда не прорвались. Потом должен был вернуть оружие и не дать задерживаться в приемной ни на секунду больше. Было тоскливо. Но он привык, хотя чувствовал, что тупеет от этой привычки и что Буденный не стал его теперь замечать, проходил мимо, как будто он мебель какая-нибудь или даже простой табурет. Но Павел все равно помнил о том, что именно он его спас, оставив на том холодном заводе под Ленинградом в 39-м.

Незаметно минуло полгода: капризная зима с бесконечными оттепелями, долгая, слякотливо-морозная весна и началось долгожданное лето.

Пришло очередное письмо от Дарьи из Лыкино. Оно несколько успокоило Павла, который не давал себе покоя за то, что так и не поехал туда. Дарья написала, что мать вдруг

пошла на поправку, стала есть, даже подняла немного в весе. Вдруг вспомнила о нем, хотя по-прежнему совершенно безразлична ко всему. Болевшая якобы корью сестра Серафима давно выздоровела, но новый врач Аверьян Петрович, который теперь работал в амбулатории на станции Прудова Головня взамен старого доктора Виктора Меркуловича, авторитетно заявил, что не было тут никакой кори, а действительно время от времени возвращалась холера. Все дело было в отравленных этим страшным вирусом колодцах во всей округе. Дарья спрашивала, приедет ли, наконец, к ним Павел. Но он до такой степени уже отдалился от них, так давно привык к их незадачливому общению лишь посредством писем друг другу, денежных переводов и посылок (с его стороны), что и думать не желал о поездках и встречах. Он страшно себя пытал иной раз – а может ли так жить человек, чтобы не иметь теплых чувств к матери или к сестрам. Они ведь ничего дурного ему не сделали, а он сам – их кровь и плоть. Но переселить себя, зажечь хоть каким-нибудь состраданием, не мог. Этот холод его самого пугал, но и успокаивал – тепло он должен был сохранять не для прошлого, а для настоящего и будущего. А их он вычеркнул тогда из своего сердца, когда шагал в распутицу к станции Прудова Головня и навсегда отрывался и от Лыкино и от них.

Но все эти его переживания и беспокойства растаяли без следа, когда они могли стать лишь незначительной частью очень большой, очень общей беды. Тут уж никак не могло

быть хороших или плохих сыновей и братьев, а могли быть лишь хорошие или плохие воины, имевшие, по убеждению Павла, только одну мать на всех – Родину, и одного отца – Сталина.

Война началась также *внезапно*, как и *ожидалось* всеми. Странное чувство! Это как первые месячные у девушки-подростка – ждут непременно, вот-вот, а приходят нежданно-негаданно. Именно так сказал Стирмайс, постоянно ухмыляющийся начальник личной охраны Буденного. Он всех не любил, всем не доверял. И самому Буденному, думал с раздражением Павел! Но тут он точно выразился, хоть и крайне неприятно. Стирмайс вообще очень настораживал, даже пугал своей холодностью, злой насмешливостью во взгляде. Даже война показалась сначала не страшнее его.

Маршала сразу назначили командующим группы войск резерва Ставки, немедленно после ее образования. Сидел там же, где и всегда, но постоянно гонял в войска. Опять заблажил о нужде в кавалерии, но его не слушали. Какие лошади! Людей кормить скоро станет нечем! И где взять вагоны для перевозки с юга? А тут немцы почти сразу тот юг отрезали, нещадно бомбили железную дорогу. Шли они бойко во всех направлениях. Не успевало радио сообщить о том, что где-то идут упорные бои, как тут же появлялись знающие люди, рассказывавшие о том, что те места давно уже сдали, что наши войска пропали, либо находятся в окружении, либо даже полностью разгромлены. Появились на улицах ране-

ные, в бинтах, хромые, на костылях, в драной, грязной форме, потерянные. Было множество невыспавшихся, небрежно одетых военных всех возрастов, даже старики, седые, с петлицами лейтенантов, с наспех нашитыми шевронами командиров взводов и рот. Они шли к вокзалам с серыми котомками за плечами или, порой, с фибровыми чемоданчиками, без оружия, хмурые, усталые. Вокзалы стали особенно строго охраняться, в залы ожидания пускали только по специальным пропускам.

На улицах, во дворах бесились от нечаянной радости войны одни лишь дети – им все было нипочем, всё вело к захватывающим дух приключениям, которые были бы невозможны в мирное время. Они нередко отрывались от родителей, уменьшившихся по количеству вдвое почти в каждой семье, и бежали на пока еще далекий фронт целыми классами или большими романтичными группами. Их ловили, возвращали обратно, отправляли в специальные детские приемники, но они бежали и оттуда. Однако нервная эйфория первых недель войны вдруг увяла, люди заметно сникли, посерели лицами. Москвичи впервые увидели беженцев – оборванных, голодных и одиноких. Московские дети, уверенные в том, что немцам нужно лишь умело сопротивляться, а для этого достаточно позволить им, смелым и решительным, взяться за оружие, столкнулись на улицах со своими же сверстниками, прибывшими оттуда, куда они так горячо рвались. Это отрезвило всех, не меньше, чем участившиеся

бомбежки. От романтики войны не осталось и следа.

Город как будто засыпал, уползал в свои бесчисленные подвалы, испуганно жался к стенам домов. Город дичал той особой дикостью, которая свойственна любой цивилизации, внезапно обнаружившей свою полную беззащитность перед обстоятельствами, выходящими за искусственные (как вдруг оказалось!) рамки всякой цивилизации. На первое место властно выходили все грязные и, в то же время, естественные человеческие пороки, которые по-существу и оказывались главным врагом цивилизации. Притихшее наконец, неестественно повзрослевшее, сильно проголодавшееся за какие-то пару месяцев городское детство, более всего свидетельствовало о растерянности беззащитного и одинокого среднего человека перед бесстыдным парадом его истинной природы. А в той природе были и страх, и голод, и опасение получить меньше других, когда всего не хватает, и недоверие к себе подобным, и пугающее неверие в то, что те, кто сюда рвутся, вообще являются «подобными».

Магазины опустели, обнищали, стыдливо прикрылись сначала тяжелыми чугунными решетками, а потом многие и вовсе перестали открываться. По городу, поджав живот, хромал, точно раненый солдат, голод. Не хватало врачей, пожарных, милиции, слесарей, мусорщиков. Зато в огромном количестве появились крысы – серые, жирные, озлобленные. Видимо, было не до них, никто не уничтожал их, не боролся с их растущей не по дням, а по часам популяцией; вот они и

почувствовали себя хозяевами дворов и брошенных домов. Люди шепотом говорили, что это и есть первая примета того, что город будет сдан. Так, мол, было всегда и везде. Это тоже отрезвляло. А общая трезвость замораживала любое романтическое чувство и любую надежду посильнее самого лютого мороза.

Павел это ощущал очень остро, потому что его прошлое в нищем Лыкино как будто разом вернулось к нему и расширилось до пределов огромного города, даже до масштабов целой страны. Он впервые стал думать о том, что все беды рукотворны, что они не имеют географических границ, а постоянно сопровождают всякого человека, и достаточно лишь дать волю его природе, как варварство тут же одолевает все вокруг себя, и его самого в первую очередь.

Все это не удивляло лишь стариков и тех, кто был лет на пятнадцать старше Тарасова, потому что они еще помнили и Первую мировую, и гражданскую войны, и послевоенный голод, и насильственную коллективизацию, и бандитизм, и всеобщее отчаяние. Немцы, которые упрямо расползались по стране, были лишь отвратительным внешним поводом для того, чтобы в каждом проснулась его природная суть. Скрепить, сковать эту животную суть, загнать ее в узду надприродной воли и было самым главным, самым важным теперь, что могло обеспечить победу над чужой армией.

Операция «Тайфун», которую немцы разворачивали уже с конца сентября, заходила в эти и во все последующие дни

в свою самую драматическую и опасную стадию. Целью операции была Москва. Город чернел и вымирал, на восток тянулись обозы, ползли эшелоны; массовая эвакуация в Среднюю Азию, на Урал, в Сибирь, на север России шла уже полным ходом.

Москва уже с вечера 14 октября бурлила страшными слухами о том, что власти решили сдать ее врагу. С улиц окончательно исчезли милиционеры, зато появились развязные уголовники, которые почти открыто грабили магазины и лавки. На улицах и на выездных дорогах люди били партийных чиновников, застигнутых во время бегства из города со своим небедным домашним скарбом. Оказывается, приказ о выводе из города всех ценностей и секретных документов, поступил еще накануне вечером, 14 октября.

В грузовиках возили по городу взрывчатку и закладывали на заводах, фабриках, под мостами и даже в каких-то центральных гражданских учреждениях. Холодный ветер гонял по улицам ворохи бумаг, среди которых были и те секретные, что приказано было либо уничтожить в огне, либо вывезти. Но многие чиновники, и крупные, и мелкие, хватали лишь собственное добро и выталкивали с ним на восток из столицы свою родню.

Павел однажды видел на бывшей Владимирке, как выбросили из черной «Эмки» семью какого-то районного партийца, и тут же в машину втиснулось человек пять или шесть с чемоданами и свертками. Но «Эмка» не прошла и сотни

метров, как ее вновь остановила разъяренная толпа. Только двое успели выскочить из нее, остальных же не выпустили, а так и катили с крыши на колеса, с колес на крышу под развороченную недавним взрывом насыпь железнодорожных путей. Потом машина вспыхнула, оттуда дико заорали люди, но пламя, бушуя, заглушило всё. Мимо пронесся с воем переполненный состав, на котором гроздями висели черные и серые человеческие фигуры. Вагоны опасно раскачивались на осевшей насыпи, затянутой вонючим дымом от горящей «Эмки». Во все стороны летели, словно пули, острые камни.

Энкаведешники вдруг разом притихли в городе. Рушилось все, что казалось незыблемым до войны. Горели довоенные плакаты, вальяжные портреты вождей с самоуверенными, гладкими лицами. Тарасов видел однажды, как кто-то худой и озлобленный, в длинном сером макинтоше, прямо в переулке вблизи Лубянки жег огромный, праздничный портрет самого Сталина. Сердце ёкнуло, бухнуло в груди, но даже он, большой и сильный, вооруженный человек, не посмел вмешаться. Не потому, что боялся, а потому, что не знал в тот момент, верно ли это, не поделом ли тем, кто, казалось, уже упустил столицу. Потом он корил себя за то, что отвернулся, считал это непростительной трусостью со своей стороны, почти предательством. До смерти своей, пришедшей много позже, в середине девяностых, Павел морщился от тех воспоминаний, гнал их от себя, как стыдный сон. Ему всегда казалось, что это самое большое душевное зло, кото-

рое он допустил, самая черная грязь, налипшая на нем, и это несмотря на то, что тогда впереди его ждали тяжелейшие разочарования и беды. Но в тот момент, в те несколько октябрьских дней, все казалось другим.

Метро вдруг заперли 16 октября. Это напугало людей более всего, потому что теперь спрятаться от бомбежек было негде. Кто-то уже в отчаянии ждал немцев, смиряясь в душе с их приходом: «ведь Европа давно уж унижена, а что же мы!» А кто-то решил, что самое время пожить в угаре день-два за счет брошенного добра. Одни лишь бежавшие втайне считали себя счастливчиками. И в то же время по существу глубоко несчастными, потому что бросаемое ими на произвол судьбы прошлое, когда-то и составляло всю их мирную жизнь.

На улицах вдруг опять, после небольшого перерыва, появились старшие школьники и студентки, худенькие, слабенькие, с винтовочками в упрямых цыплячьих руках. Они вновь будто играли в войну (но уже не так, как в первые дни – со слепой романтикой приключений) – оборудовали мешками с песком и брошенной мебелью огневые точки, ложились за ними, как в окопы, и ждали в самом центре помешенного от паники города захватчиков. Военные все еще держались на ближайших фронтовых подступах к Москве. От них сейчас зависело, сколько раз успеют пальнуть в немцев мальчики и девочки, не бежавшие из столицы.

Павел с отчаянием думал тогда о том, что если и Сталин

уедет и увезет с собой всех своих людей, то немцев уже никакими силами не сдержать. Они торопились, предчувствуя раннюю зиму и понимая, что в голом поле или в бескрайних лесах им не выдержать русских морозов, о которых в Германии ходили легенды. Да и эта осень выдалась уже необыкновенно холодной, с ранним, колким снежком, с ледяным дождем.

Павел много позже размышлял с удивлением, что если бы не природа, вставшая на сторону русских, все могло сложиться еще хуже.

Штаб Буденного все это время сидел в Москве, там все время внимательно смотрели сводки, выезжали с инспекциями в войска, орали матом в трубки на железнодорожников, которые из Сибири никак не могли пропустить без задержки эшелоны с людьми и с вооружением для Резервной армии.

А немцы тем временем стремительно приближались к Москве.

Маша давно уже перестала писать, будто исчезла совсем. Павел беспокоился о ней, отправлял на ее адрес короткие письма, но не получал ответов. Он решил, что ее обучили там, очень далеко, в Хабаровске, какому-то серьезному, секретному ремеслу и теперь используют за линией фронта. Он стыдился, что сам находится в тылу, что его служба не сопряжена с риском, с опасностью, как будто он прячется, ищет и находит себе теплое местечко, а она там, она воюет вместо него, молодого и сильного мужчины. Павел еще с авгу-

ста стал настойчиво проситься на фронт, написал три рапорта, один за другим, но ему только показывали глазами на дверь. Как-то раз маршал впервые за долгое время буркнул ему строго, идя мимо:

– Сиди, молодой Чапаев, тут! Еще постреляешь…

Еще в середине сентября Тарасова вызвали в управление кадров и спросили, не хочет ли он в московскую милицию, на оперативную службу? А то, мол, есть нужда: в городе уголовщина. Дескать, если согласится, то они перед маршалом за него похлопочут. Все же, сказали, это дело боевое, важное!

Павел растерялся, не зная, что ответить, а вечером того же дня его вдруг срочно по приказу Буденного отправили в Котельники для сопровождения инспекторов наркомата – нужно было отфильтровать и разместить пришедший наконец из Новосибирска эшелон с людьми. Но во время выгрузки в двух сотнях метрах от платформы (там застряли два эшелона с продуктами и лекарствами) начался мощный налет авиации, сибирский эшелон полностью разбомбили, очень многие погибли. Досталось и тем двум эшелонам, находившимся под разгрузкой.

Над путями вился хоровой стон десятков раненых, как будто кто-то задел высокую струну в огромном струнном инструменте и она резонировала в раскаленном воздухе. Куски окровавленного человеческого мяса повисли на проводах, на столбах, тела буквально разметало по шпалам и по

оплавившимся рельсам. Людей убивало все, что было внезапно поднято бомбами – и вывороченные бесформенные куски металла, и свернутые буквально в жгуты с острыми концами обрезки тамбурных лестниц и вагонных перил, и вдруг превратившиеся в мощные снаряды обломки бревен и шпал. Многие пытались укрыться под горящими вагонами, но осколки и мелкие камни с путей, разбрасываемые взрывами с чудовищной силой, метко доставали их и там.

Павел почти сразу получил ранение в левое плечо небольшим горячим осколком, но и довольно тяжелую контузию. Он запомнил лишь могучий взрыв где-то далеко в стороне и тут же ощутил острую боль под шеей, слева. Потом этот взрыв как мячик вдруг подпрыгнул (так ему показалось), осветился бордовым пламенем и что-то необычайно тяжелое рухнуло ему на голову. Он растянулся на развороченных путях, приподнял голову и тут же ясно решил, что это на него упало целое небо. Но оно не задержалось на гулкой земле, а вновь отскочило вверх, будто оттолкнулось, и рухнуло где-то совсем близко, оттуда истошно закричал мальчишеский голос и тут же пропал. Павел изумленно смотрел в низкий дымный потолок над собой, пронизываемый светом какой-то яркой, оранжевой лампы, и вдруг увидел, как с этого потолка прямо к нему, вниз хищным, острым носом, несется громадная черная птица. Она заливается яростным огнем и выбрасывает из себя черные яйца, которые рассыпаются вокруг и сразу расцветают огромными цветками.

«Это не птица! – со спокойным удивлением подумал он и попытался приподняться, чтобы лучше разглядеть стремительно падающую на него тень, – Это самолет! Сейчас – конец! Вот, оказывается, каким он должен быть! Батя не любит чертову технику именно поэтому! В ней нет души…, только железо! Другое дело кони…»

Вдруг стало так тихо, словно в уши забили вату. Но эту странную тишину откуда-то издалека, расширяясь и усиливаясь, прошил высокий звук, который казался острой раскаленной иглой; игла впилась в мозг и стала сверлить его непереносимой болью, как будто тонким сверлом. Сознание рухнуло в удушливую, тошнотворную темноту, разящую пережаренным мясом и дымом.

Он пришел в себя на носилках, около развороченной станции. Вокруг сновали люди и что-то кричали, но он не мог различить их голосов, потому что голова гудела, как колокол, по которому с чудовищной силой ударил тяжеленный язык.

Первое время в ушах стоял лишь этот звон, переросший на следующий день в низкий, надоедливый самолетный гул, в глазах противно двоилось, нестерпимо болели затылок и левый висок. Даже после того, как постепенно восстановилось зрение и слух, боли еще несколько месяцев внезапно возвращали его к той страшной бомбежке в Котельниках. Он ясно видел в своих кошмарах распятые взрывами тела, вывороченные внутренности, распахнутые глаза, в которых стоял смертельный ужас. А главное – падающую прямо

на него черную птицу, выпрастывавшую из своего злобного нутра маленькие, твердые яйца. Это видение перечеркнуло для него все то, что он потом принял от войны. Так и осталось ее единственной, безобразной картиной.

Павел уже будучи зрелым человеком, пережившим много горя на фронтах, в холодных окопах, в дремучих лесах, в госпиталях, именно из-за этого считал, что война на самом деле видится не глазами солдат, а – глазами всех тех, на кого падали черные птицы и сыпались из них твердые смертоносные яйца.

Одиннадцать дней провалялся Тарасов в военном госпитале на Госпитальном валу. Из-за этой бомбардировки его перевод в другое ведомство, хоть тоже находившееся во внутренней системе НКВД, окончательно отменился.

Павел вернулся на службу с тугими бинтами под гимнастеркой на левом плече и со стягивающей повязкой вокруг головы. Буденный, увидев Павла на посту в своей приемной, покосился на него и со значением хмыкнул. Павлу вдруг показалось, что глаза его смеялись, рассыпая чертей во все стороны.

Маршал остановился, посмотрел себе под ноги, крутанул ус и выдавил сквозь зубы:

– С боевым тебя крещением, казак! Жить, значит, будешь долго.

На следующий день один из новых адъютантов, невысокий, полный майор, шепнул ему, что Буденный подписал на

него приказ на медаль «За боевые заслуги». Павел знал, что их вручали за Халхин-Гол и на финской кампании, видел их у многих. Теперь такая же будет у него. Он растерялся, потер повязку на голове:

– Так я ж просто… под бомбежку попал…, там же все так… Меня шарахнуло и всё, а осколок немного порвал плечо… Я ж ничего не успел даже!

– Что значит, просто! – возмутился адъютант, вскинув ко лбу небольшие карие глазки, – что значит, «*все так*»! Там что же, *все* из личной охраны маршала Буденного были? Или только один ты, Тарасов? Тоже мне, скромник нашелся! Бери, когда дают…

В самый разгар московской обороны, в конце октября 41-го, вдруг появилась Маша. Они сумели увидеться лишь несколько раз дома на Ветошном. Маша, обнаружив почти зажившее уже ранение Павла, прижалась к нему и заплакала.

– Ничего, Машенька, ничего! Это все чепуха…, – шептал он, целуя ее в виски, в щеки, во влажные глаза, – Это всё ничего! Там народу, знаешь, сколько побило! Я, …как бы это… в рубашке родился… Врачиха в госпитале так и сказала! И Семен Михайлович говорит…боевое крещение, мол, жить буду теперь долго! Медаль даже вот дали… А напрасно…, я ведь ничего не успел даже. Вот ты как? Где ты-то была? Ну хоть что-нибудь скажи…, родная моя!

– Готовили меня…, туда…в тыл к ним, понимаешь? В отряд… Учили…, я очень старалась… А они меня назад, в

Москву. Говорят, я тут нужнее … Может, не доверяют, а? Семь пятниц у них на неделе, честное слово!

И все же через несколько дней она вновь уехала из Москвы – эвакуировались дела главного управления кадров НКВД, их увозили сначала в Куйбышев, а потом еще дальше – в Челябинск. Маша отвечала там за что-то очень важное и секретное.

Пришло письмо от Дарьи из Лыкино. Оно было необычно лаконичным, почти как телеграмма. Она написала лишь то, что все же сестра Серафима отдала богу душу от воспаления легких (видимо, так и не оправилась после тех своих болезней), а мать положили в лечебницу в Тамбове с новым диагнозом «шизофрения». Она хмурая, серая, нелюдимая, никого не желает узнавать и никого не помнит.

Павел на этот раз даже не ответил сестре письмом, а только пошел на почту и отправил ей денежный перевод, написав в уведомительной телеграмме лишь несколько слов: «Извини, Даша, что так и не еду. Не до того. Береги себя и двух оставшихся сестриц. Кланяйся матери. Павел.»

Внутренняя, семейная скорбь Павла и не умолкающие совестливые упреки в его холодности к родным, растворялась без остатка в общей скорби, обхватившей страну и каждого в ней.

10. Выстрел

К концу осени 41-го Павел уже редко появлялся на Ветошном. Он почти не покидал казарму, разве что, выезжал с кем-то из помощников маршала на передовую и подолгу там задерживался.

В первых числах ноября их немногочисленная группа внезапно попала под неистовый танковый обстрел.

На том участке как раз в это время с боем выходила из окружения стрелковая дивизия войск НКВД. Шли почти неделю по лесам, по промерзшим уже болотам, несколько раз попадали в засады, нарывались на железные колонны немцев, все еще стремившихся к западным и северо-западным границам Москвы. А тут вдруг такая удача – щель в полтора километра шириной во фронтовой полосе: не то немцы просмотрели что-то, не то просто не придали этому должного значения, не то думали, что опасаться уже некого стало. И вот в эту спасительную щель устремилась истерзанная и вконец усталая дивизия. Однако история обнаружения этой бреши была очень непроста. Дело в том, что самому Сталину незадолго до этого лично доложили о пропавшей дивизии НКВД. В ее руководстве был человек, которого он давно знал и, в свое время, лично распорядился назначить его на генеральскую должность в войска НКВД.

Небольшая группа инспекторов резерва Ставки, кото-

рую сопровождал Тарасов, совершенно случайно оказалась в эпицентре боя, который вела та самая дивизия НКВД.

Туда, сразу после доклада Сталину, на поиски дивизии еще накануне был заброшен полковник первого оперативного отдела из Ставки Главнокомандующего Моисей Полнер.

Он начал свою военную карьеру еще в Гражданскую войну на юге Украины, почти подростком, а в дальнейшем был переведен в Кременчугскую пехотную школу. В 34-м его прислали в Москву на учебу в академию Фрунзе. Не то помогло еще крепкое гимназическое образование, не то хорошо усвоилась учеба в пехотной школе, но он демонстрировал такие блестящие успехи в академии, что преподаватели просто диву давались. Среди них был в прошлом офицер генерального штаба Его Императорского Величества полковник Иван Иванович Крупенин, необыкновенно высокий, сухожилый человек. Он сразу же заметил Полнера и предложил ему писать научные работы по особенным тактическим дисциплинам. К некоторым из них в академии относились с пренебрежением, как к устаревшим или даже вредным. За это потом приходилось расплачиваться тысячами жизней, потому что немцы эти особенные дисциплины знали очень хорошо и весь сорок первый год применяли их с блеском. К разряду «вредных», «пораженческих» дисциплин относили в академии методы ведения боя в условиях плотного окружения.

У Полнера работы получались легко и даже остроумно.

Он обладал феноменальной памятью и исключительной сообразительностью. По окончании Академии в тридцать девятом Полнер запросился в войска, но Крупенин потребовал, чтобы его приняли в другую академию – Генерального Штаба. Это было невиданно! Молодой еще командир, без связей и поддержки сверху, и вдруг – в главную карьерную академию! Однако Крупенин настоял на всех командных уровнях. Так что к началу войны Полнер был уже из того незаурядного типа командиров, которые имея в прошлом боевой опыт, в настоящем были блестящими теоретиками. Да еще сам уже к этому времени он стал автором двух или трех специальных учебников по тактике боя на открытой местности с преобладающей силой противника и по тем самым «вредным» методам выхода из окружения большой плотности. Тем более что изучал он, прежде всего, немецкую науку и великолепно знал все нынешние германские повадки, воспринятые теми еще из древнегреческого и римского военного опыта.

Выводить из окружения войска полковник Полнер начал с самого начала войны. Он блестяще владел немецким языком, на котором у них даже разговаривали дома – жили на Украине в плотной немецкой помещичьей среде, а отец Полнера был управляющим в одном крупном и в двух мелких немецких имениях. Немцы расселились там еще по приказу Екатерины Великой и привнесли на Украину особые формы хозяйствования.

«Осенние богачи» – называли в этих местах владельцев

мелких имений: будет урожай, будет богатство, не будет урожая – останется лишь чрезвычайно скромная жизнь. Управлять ими – значило составить приданное немецким невестам, а это было весьма важно по тем временам. Потому и уделялось особое внимание опытному управляющему, от которого зависело в таком деле многое, если вообще не всё. Отец Моисея Львовича готовил к этому ответственному труду и сына, заставлял его прилежно учить не только немецкий (а это было обязательно в той гимназии, наряду с латынью и древнегреческим), но и французский. В тех местах особенно ценились крепко образованные люди. Всякому барину (не только немцу, но и русскому, и украинцу, и поляку) хотелось видеть в своих управляющих того, за кого перед уездным обществом будет не стыдно и кто управлялся бы с его богатством по чести и совести. Считалось, что образование дает культуру, а та, в свою очередь, порядочность.

– Всякое воровство идет от бескультурья, – нравоучительно твердил Лев Давидович Полнер сыну Моисею, – даже если вор, вроде бы, образован. Но образован-то он кое-как! Писать, читать, считать выучился, даже, может быть, и за столом сидеть правильно, пользоваться приборами, салфетками, а вот обо всем остальном, относящемся исключительно к гуманитарным наукам, не имеет никакого представления. Гуманитарные науки – не пустая болтовня какая-нибудь, а – мудрый опыт поколений сожительствовать друг с другом и соблюдать общие правила для этого. Собственно, это и есть

истинная культура.

Он не исключал, что его сын уедет когда-нибудь в Германию или во Францию и там сумеет честно делать то же самое, что он, старый управляющий, всю свою жизнь делал на Украине, под Полтавой, то есть справедливо управлять сельскохозяйственными угодьями. Французский язык, наряду с русским, украинским и идишем, позволяли Моисею постигать толерантные гуманитарные ценности. Латынь и древнегреческий – вели по бесконечному лабиринту философских, политических и военных древнейших наук. А вот немецкий язык пригодился Моисею Львовичу совсем для иного дела. Судьба все решила по-своему.

Внешне полковник Полнер на еврея похож не был, разве что, крупными карими глазами и густыми кустистыми бровями. Но такие лица вполне можно было встретить и среди немцев, живших в Баварии, то есть ближе к югу Европы, на границе с Францией или Австрией. Поэтому с первых дней войны его облачали в немецкую полевую офицерскую форму и на этажерке У-2 глубокой ночью забрасывали во вражеский тыл. Он держал в голове все карты местности, самые подробные и мелкие, вплоть до указателей высот, впадин, оврагов, лесов и перелесков, шоссейных и железных дорог, селений и даже отдельных домов. Это был человек феноменальных способностей.

Под Минском его захватили окруженцы и решили расстрелять, приняв за настоящего немецкого офицера – не по-

верили, что он разыскивает окруженные войсковые группы и после их объединения выводит к своим на переформирование. Это в условиях общего панического бегства казалось невероятным. Такого опыта в Красной армии еще не было, а трудов полковника Полнера, открывавших как раз эту короткую и очень «свежую» страницу советской военной истории, никто не то что не читал, но даже и не знал об их существовании. Они считались работами совершенно секретного тактического направления, которое не очень-то и любило командование. Какие такие окружения? Какие еще бои в глубоком тылу? Кто там оказался, тот трус и предатель!

Если бы тогда не оговоренный заранее пароль, а именно – точно в срок произнесение по радио из Москвы двух казалось бы бессмысленных фраз, поставили бы Полнера к ближайшей сосне, и тут бы и кончилась его опасная научно-практическая деятельность. На его счастье в том военном подразделении, попавшем в окружение в районе Минска, оказался достаточно мощный передатчик, способный ловить и короткие радиоволны. Это и спасло жизнь сначала ему, а потом и окруженцам, которых он все же вывел к своим уже через пять с половиной дней. Да еще взяли в плен двух старших офицеров вермахта с подробными секретными картами глубокого тыла немецких войск и специальными донесениями разведки.

А скандал, из-за которого буквально рассвирепел Сталин, случился вот какой – о блуждающей по немецким тылам уже

неделю той самой стрелковой дивизии НКВД стало каким-то образом известно в Ставке. Сталин наорал на Берию и тут же распорядился направить туда опытного военного, способного разыскать их, остановить беспорядочное бегство и даже организовать надежную оборону до подхода резервных сил Красной Армии.

Этим военным и оказался полковник Полнер. Однако пока он добирался до головы мечущейся по дорогам колонны, капкан окончательно захлопнулся, и дивизия, не очень-то, как обнаружилось, потрепанная, оказалась в смертельной ловушке. Командиры войск НКВД на пощаду у немцев рассчитывать не могли. Все они были коммунистами и чекистами, а командир дивизии, креатура самого Сталина, за год до войны к тому же был начальником одного из секретных северных лагерей, в котором содержались особые иностранцы, в том числе, немцы и австрийцы. О том лагере рассказывали очень нехорошие истории: и о самочинных расстрелах, и об изнасилованиях жен и дочерей осужденных, которые добивались свиданий, и о пытках, избиениях. Нескольких оперативников из лагеря в дивизию перевели вместе с командиром, среди них был и начальник штаба, человек крайне жестокий и несправедливый даже по отношению к своим. Взаимное неуважение, а в некоторых случаях, даже ненависть, были обычным явлением в командирской среде той элитной дивизии.

А к приезду Полнера здесь уже царили паника и анархия,

усугубившие обстановку до критического положения.

Появление из Ставки полковника стало для значительной части командного состава дивизии единственным шансом выжить. Полнер сумел остановить паническое бегство, буквально за полтора иди два часа собрать дивизию в единый кулак и немедленно начать отступление в сторону Москвы в боевом порядке. Прежде всего, он наладил разведку, отобрав для этого пятнадцать опытных и физически хорошо подготовленных военных. Группы по пять человек постоянно шли в особой последовательности: две параллельно с основной колонной и одна – не менее чем за километр впереди. Когда одна из фланговых групп обнаруживала противника, об этом немедленно сообщалось в мобильный штаб и передвижение дивизии корректировалось. Полковник выделил взвод стрелков, который за все время перемещения колонны трижды вступал в боевой контакт с немцами, уводя их далеко в сторону. Взвод был обеспечен двумя полугрузовыми автомобилями и шестью мотоциклами с колясками, отбитыми у немцев в одном из коротких боев. Он успевал передвигаться с такой скоростью, что немцы, преследуя его, очень быстро теряли ориентиры, и каждый раз уводились им далеко от самой дивизии. Во время одного из таких сложных, путаных маневров этим самым взводом и была обнаружена та полуторакилометровая брешь, каким-то образом забытая обычно аккуратными немцами. Дивизия отчаянно рванула в этом единственном направлении. Нужно было пройти почти во-

семь километров вдоль линии фронта по немецким тылам к той бреши и около двух километров поперек ее в сторону своих.

Немцы поняли свою ошибку очень поздно и тут же послали в том же направлении штурмовую авиацию и сводную танковую группу с пехотным десантом, что вообще было для них явлением до чрезвычайности редким (они на броню обычно пехоту не сажали, а использовали для этого крытые автомобили). На узком перешейке, между двумя крайними флангами произошло жесточайшее столкновение. Русским нужно было успеть просочиться в эту случайную брешь. Немцы же хотели не только одолеть окруженцев, но на «их плечах» проскочить уже в русский тыл и расширить фронт в этом месте.

План Полнера казался слишком рискованным – легче, по мнению кого-то из его командования (а это обсуждалось уже позже, когда все закончилось), было потерять всю дивизию целиком, чем потом отступать от прорвавших немецких танков, а следом за ними и моторизованной пехоты. Но Полнеру уже тогда терять было нечего, и он, окончательно взяв на себя командование дивизией, приказал прорываться. Эта полуторакилометровая более или менее свободная фронтовая полоса была последним шансом для всех. Она, собственно, оказалась не совсем свободной – на ней в это время неторопливо окапывались два неполных взвода немецкой саперной части. Они были сметены дивизией за несколько минут –

просто врыты в землю.

Вот тут, в этот самый момент, и оказалась инспекционная группа резерва Ставки, в которой находился в качестве охраны одного из старших командиров, личного представителя Буденного, Павел Тарасов. Сначала очень близко застрекотали пулеметы, с неба вниз, к земле, нырнуло несколько штурмовиков, и почти сразу после этого появилась авангардная группа дивизии НКВД. На хвосте у дивизии буквально висели бешено плюющиеся огнем немецкие танки количеством не менее пятидесяти, а то и больше. Инспекторы группы резерва никак не могли разобраться, что же тут в действительности происходит. Двенадцать тяжелых танков, пытавшихся обойти дивизию с левого фланга, отрезала и им путь назад.

Полтора десятка инспекторов из резерва Ставки внезапно угодили в самый центр рвущейся из окружения дивизии. Энкаведешники, тем не менее, шли по всем правилам военной науки – неширокими компактными флангами, с передовым охранением, немедленно ставшим остроносым, целеустремленным авангардом, а также и с арьергардом, где было в этот момент сосредоточено самое мощное в дивизии вооружение – пулеметы, бронебойные ружья, гранаты и автоматическое оружие.

Поразительно, но несколько полков, с входящими в них батальонами и ротами, двигались таким компактным, тесным и мощным кулаком, что остановить их стало уже невозможно. Несмотря на бомбардировку и танковый обстрел,

они упрямо сохраняли строй и не растекались по фронту. Концентрированный, очень плотный огонь с их стороны по штурмовикам, танковой группе и пехоте создавало надежную заградительную стену, через которую пробиться без страшных потерь для немцев было нельзя.

Танки, тем не менее, упорно пытались разбить строй, но с уступов по ним велся очень точный бронебойный огонь. Полнер вовремя понял конечную и чрезвычайно опасную цель немцев и решил не заводить дивизию в вглубь своей территории, а немедленно закрыть ее же телом ту самую брешь, образовав свой собственный эшелон обороны.

Вот тогда к нему и попали инспекторы из группы резерва. Столь остроумного решения еще никто никогда не предпринимал и такой боевой оперативности от русских войск немцы никак не ожидали. Они были остановлены и даже отброшены назад. Дивизия мгновенно перегруппировалась, и пока арьергардные роты держали напор немцев, основной костяк окапывался там, где до них уже нарыли множество удобных щелей саперы из тех двух неполных немецких взводов. Этот маневр мог войти в учебники, как пример тонко рассчитанной дерзости полководца, коим тут был полковник Полнер, а не бледный, растерянный командир дивизии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.